

ВРЕМЯ *И* **МЕСТО**

*Международный
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

Выпуск 1 (29)

Нью-Йорк, 2014

ВРЕМЯ и МЕСТО

*Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

VREMYA I MESTO

*International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary*

Copyright © 2014 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by *Eugeniusz Żak*

Design and layout by *Alex Loskutov (Art40 Design & Print)*

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopy, or any other - except for brief quotations in printed reviews, without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, please call 718-815-5000 or email olga@flockusa.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN: 978-0-9793240-8-6

Редакция не рецензирует присланные материалы
и не гарантирует их публикацию.

Printed in the United States of America

Игорь Шихман, издатель и главный редактор (США)

Редакционная коллегия:

Давид Гай - зам. главного редактора (США)

Ирина Басова (Франция)

Марк Вейцман (Израиль)

Руслан Галазов (Испания)

Нина Генн (США)

Максуд Ибрагимбеков (Азербайджан)

Надежда Кожевникова (США)

Давид Маркиш (Израиль)

Владимир Некляев (Беларусь)

Андрей Остальский (Англия)

Александр Половец (США)

Георгий Пряхин (Россия)

Семен Резник (США)

Михаил Румер-Зараев (Германия)

Марк Черняховский (США)

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ.....

ПРОЗА

ДИНА РУБИНА

Дом Этингера.....

АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ

Приключения мистера Крокера.....

БОРИС ШАПИРО

Вся наша жизнь – литература.....

ЛИЛИЯ СОКОЛОВА

Вспоминая Булата Окуджаву.....

ПОЭЗИЯ

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА.....

МАРК ВЕЙЦМАН.....

ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ.....

ГЕРМАН ТОДОРОВ.....

АЛЕКСАНДРА ГОВОРОВА.....

ВЛАД ТОЛМАЧЕВ.....

ЭМИГРАЦИЯ

ВЛАДИМИР МАТЛИН (МАРТИН)

Как я работал на “Голосе Америки”.....

ПОЛЕМИКА

НОЭМИ ШКУНДИНА

Исключения и правила.....

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

АЛЕКСАНДР ГУН

Как Одесса “кинула” Париж.....

ИМЕНА В НАУКЕ

СЕМЕН РЕЗНИК

Против течения.....

БИБЛИОГРАФИЯ

Музыка души.....

Что будет с Россией.....

САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЛЕОНИД КОРТ

Размышления уже немолодого мужчины.....

ЮРИЙ СОЛОДКИН

Четверостишия.....

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

Ширма.....

АВТОР ОБЛОЖКИ

На разрыв аорты.....

К ЧИТАТЕЛЯМ

В двадцатых числах января промелькнуло сообщение, что российское правительство готовит новый суперпроект - сеть зарубежных образовательных центров по изучению русского языка под общим названием Институт Пушкина, по аналогии с испанским Институтом Сервантеса или немецким Институтом Гете.

Характерным был заголовок одной из статей по этому поводу: “Батальон лингвистического наступления”. Военная фразеология меня насторожила – при чем здесь русский язык?

Далее шло разъяснение: Россия планирует использовать распространение русского языка как инструмент «мягкой силы», чтобы возвращать утраченные геополитические позиции. И все стало понятно...

Не секрет, что в мире резко снизился интерес к изучению русского языка. Исчезновение его из образовательных программ весьма показательно. В США, например, Госдеп прекратил выделять гранты на преподавание русского языка и изучение российской политики и культуры. В большинстве европейских стран, включая бывшие социалистические, аналогичная картина. Можно говорить по меньшей мере о 12-кратном сокращении числа заинтересованных в языке Пушкина и Достоевского. За два последних десятилетия русский фактически утратил статус языка международного общения...

Кремлевская власть забила тревогу. Важный инструмент политического и идеологического воздействия затупился. В декабре 2007-го был создан фонд «Русский мир». Его возглавил прокремлевский политолог Вячеслав Никонов, к слову сказать, внук Молотова. С тех пор «Русский мир» стал неформальным исполнителем государственных инициатив по продвижению русского языка и культуры. Под это ежегодно выделяются 500 миллионов рублей. На государственном уровне продолжает работу федеральное агентство - Россотрудничество, подведомственное МИДу. Оно тоже расходует огромные средства. А результат? Почти нулевой. А меж тем продвижение национальных интересов гуманитарными

средствами – одна из важнейших задач, обозначенных Путиным в Концепции внешней политики России.

Я – всецело “за” касательно изучения русского языка в Америке и во многих других странах. Наши дети и внуки должны не только говорить, пусть и с акцентом (основной язык их общения – английский), но и читать и писать на русском. Это им может здорово помочь в жизни. Как издатель я весьма заинтересован в увеличении аудитории владеющих русским, особенно молодежи. Ведь они – наши потенциальные читатели...

Полагаю, немало родителей, дедушек и бабушек, меня поддержат. Но как же нелегко этого достичь! Моя жена постоянно занималась с внуками русским, писала с ними в косую линейку разные упражнения, диктанты... И я горжусь, что мои наследники не утратили связь с русской культурой и ее главным носителем – языком. Мой старший внук, студент университета в Вашингтоне, взял специальный курс “Русская поэзия 20-го века”...

В США есть десятки школ и центров, где усилиями энтузиастов идет обучение школьников русскому языку. Им нужна помощь, нужны средства. Однако я далеко не уверен, что новый Институт Пушкина окажет им настоящую поддержку, а также сможет эффективно работать, открывая новые образовательные центры. Горький опыт подсказывает: там, где крутятся большие деньги, там велик соблазн их украсть, распилить, потратить не на то... И уж тем более без особого энтузиазма воспринимаю идею использования “мягкой силы”. Лингвистические батальоны вряд ли смогут добиться победы.

Игорь Шихман,
издатель и главный редактор

ДИНА РУБИНА

ДОМ ЭТИНГЕРА

Глава из первой книги нового романа “Русская канарейка”

Одна из самых любимых читателями современных прозаиков Дина Рубина завершает работу над самым крупным по объему своим произведением - романом-трилогией «Русская канарейка». Он охватывает большой отрезок времени, густо населен персонажами. Рубина пишет о судьбах людских на изломах истории, о том, как важно в любых жизненных ситуациях оставаться человеком.

Первые две книги выйдут в свет в Москве весной нынешнего 2014 года, а последняя – осенью.

Писательница предоставила нам право опубликовать отрывок из романа.

1

Да никакой балериной она не была! И не бывает балерин с такой грудью. Тоже мне, хозяйство – балерина: полфунта жил на трудовых мослах. Нет, Эська заколачивала тапершей в синема, и заколачивала крепкими пальчиками, и востро глядела в ноты, читая с листа, а грудь у нее была...как две виноградные грозди («Песнь песней» в исполнении хора поклонников), – как виноградные грозди, созревшие свободно и сладко в ее неполные шестнадцать лет.

Спал ли некий Николай Константинович Каблуков под окнами ее дома? Вполне вероятно; да и кто бы пустил его спать в иное место? Много их околачивалось под ее окнами, любителей ноты переворачивать; возможно, кто и прилег с устатку.

Но в семье он запомнился: подаренный им кенарь по кличке Желтухин прожил ни много, ни мало – да бывает ли такое?! – двадцать один год. Шутка ли? Двадцать один год, копеечка в копеечку, семья просыпалась под надрывную песенку «Стаканчики граненная», высвистываемую Желтухиным с такими фиоритурами, что

ДОМ ЭТИНГЕРА

любой тенор позавидует. Не мудрено, что эта песенка въелась в быт, нравы и эпос данного семейства.

Кстати, о теноре...

Изрядные голосовые достоинства (помимо прочего музыкального блеска) были присущи всем мужчинам «Дома Этингера», – как говаривал сам Большой Этингер – Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни! Так вот, немалые достоинства тенорового регистра демонстрировал и он сам, и его единственный, сгнувшийся в чекистском аду, но перед тем проклятый им сын Яша, и...

... и – забегая вперед – правнук его, тот последний по времени Этингер, «выблядок Этингер», в ком выдающиеся теноровые свойства воплотились в предельной мере: в гибком его, пленительном контртеноре, этом ангельском то ли стоне, то ли вое, то ли канареечной россыпи (столь странной в теле мужчины)... – словом, тот «выблядок Этингер», которому аплодирует публика в разных залах мира.

Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат из кантонистов, трубач военного оркестра, запевала и буйн, который всю жизнь утверждал, что его, десятилетнего мальчика, пойманного «ловчиком» где-то в местечке под Вильно и увезенного в телеге с такими же перепуганными еврейскими мальчиками на Урал, в живодерню кантонистской рекрутчины, спас только залиvistый дискант, впоследствии излившийся в тенор, странно высокий для человека столь могучей комплекции; спас, подкормил и в люди вывел: «Ох, кабы не мой соловей-соловей-пташечка!».

После двадцати пяти лет военной службы (напоследок он отгрубил и отпел Крымскую кампанию 1856 года), Соломон осел в местечке под Полтавой и женился на дочери местного раввина. Хроменькая девушка была и болезная по женской части, но все ж раввинская дочь! Да и он, если трезво глянуть: солдат, конечно, хуже гоя, невежа в райских куцах святых наших книг,...но все ж георгиевский кавалер, да и сорок-то целковиков кантонистской пенсии от царя-батюшки – тоже, поди, на земле не валяются.

И вот, случается ж такое чудо, – мощь чресел библейских стар-

цев! – прожив в бездетном браке десять лет, уже в преклонном возрасте ухитрился родить со своей хромоножкой глазастого и ушастого сынка Герцэле, и обучить его...

...и обучить того не только игре на нескольких инструментах, но и способности к выдающейся мимикрии – во всем, в том числе и в такой мелочи, как перемена места жительства, привычного окружения и имени. «Имена – вздор, – говаривал отставной николаевский солдат. – Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка (в баню загнали, якобы мыться, а после окатили всех холодной водой из шаек), мне имя дали – Никита Михайлов; и служил я под ним царю и России двадцать пять лет. «Отче наш» во сне отбарабаню... Ну, так что ж? Какая в том беда Дому Этингера?».

Стоит ли говорить, что сын его Герц – Гаврила был, как и положено по закону, обрезан на восьмой день своей жизни, и, прислушиваясь к звенящему крику младенца, его папаша, запевала и буян, одобрительно заметил: тенор, мол. И ведь в точку попал!

Но место в оркестре знаменитого Оперного театра города Одессы Гаврила Оскарович получил в свое время вовсе не как тенор, а как – поклон папаше-кантонисту, – незаурядный кларнетист.

К тому времени он был удачно женат на Доре Маранц, дочери известного в Одессе биржевого маклера Моисея Маранца, – члена правления кредитного общества и ловкого хлебного спекулянта, которого не могла разорить даже постоянная карточная игра. В приданое дочери, к нескольким недурным семейным драгоценностям, размашистый и громогласный папаша-Маранц присовокупил шестикомнатную квартиру в новом доме на углу Ришельевской и Большой Арнаутской, – великолепную фасадную квартиру в бельэтаже, со всеми новомодными «штуковинами»: электрическими лампами, паровым, но и каминным отоплением, ванной и туалетной комнатами, и чугунной печью в просторной кухне, из которой деревянная лесенка взбегала на антресоль, в комнату для прислуги.

Дора была женщиной изумительно стервячего нрава, зато обладала монументальным бюстом.

– Ге-е-ерцль!!! Где моя грудка-а?! – с этого начиналось каждое утро.

Обслужить этот бюст могла только знаменитая одесская портниха Полина Эрнестовна: каждый год она шила Доре Моисеевне спе-

циальный лиф, напоминающий бронированное сооружение со шнуровкой. Вот его-то Дора и называла «грудкой».

Каждое утро первый кларнет оркестра Оперного театра Гаврила Оскарович Этингер, бывало, уже и одетый, и при бабочке, сжав зубы, шнуровал супругу, упираясь приподнятым коленом в ее обширную поясницу. Он ненавидел «грудку», ненавидел ежеутреннее шнурование и ненавидел Дору. В те минуты, когда его сильные пальцы профессионального музыканта тянули шнуры и вязали узлы, он мечтал оказаться сейчас вдали от супружеской спальни и от Дориной отключенной задницы, а, приложив к губам мундштук кларнета, искоса поглядывать в ложу второго яруса, где в бархатной полутьме, смутно белея истомной ручкой на пурпуре барьера, маячит белокурая Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, дочка антрепренера театра. Она всегда приходила на утренние репетиции, и ее тишайшее присутствие волновало сердца многих семейных оркестрантов. (Ну, так что ж, скажем мы вслед николаевскому солдату, – какая в том беда Дому Этингера?).

А вот о ком следует упомянуть подробнее, так это о Полине Эрнестовне.

О, эта дама заслуживает некоторой остановки в повествовании, своих пяти минут восхищения и оваций.

Бесподобно уродливая, одышливая, лохматая, с большими ногами, со страшными круглыми бородавками по всему лицу... – Полина Эрнестовна была гением линии и формы. Обшивала она артистов оперного театра и одесскую аристократию. За работу брала дорого и несуразно: не за изделие, не за час, – за день шитья. Потому к заказчику приходила жить. И жила неделями, неторопливо обшивая всю семью. Но перед «работой» являлась с визитом загодя, дня за три, и, бывало, с самого утра и до полудня сидела с хозяйкой и кухаркой, обсуждая подробное меню:

– Значитца, олады у нас записаны на четверьг, фэйф-о-клок? – уточняла, почесывая указательным пальцем главную свою бородавку на лбу: черноземную, урожайную на конский волос, ту, что в профиль придавала ее отежнему лицу неожиданный ракурс устремленного к бою единорога.

– Тогда в пятницу на завтрак – заливная рыба с хреном и с гренками. И смотри, Стеша, не передержи! В прошлом разе вышло суховато...

Заказчицы шли на все, благоговели, трепетали... Портниха была богоподобная: ваяла Образ, создавала Новую Женщину.

В назначенный день, незадолго до завтрака, на квартиру к

Полине Эрнестовне посылался дворничий сын Сергей, и оттуда, со швейной машинкой «Зингер» на спине, отдуваясь и тихо под нос себе матерясь, он отбывал до квартиры Этингеров. За ним на извозчике, с саквояжем на слоновьих коленях следовала сама Полина Эрнестовна.

Выкроек она не знала. Царственным движением руки, широким жестом сеятеля в поле набрасывала материю на стол, вынимала из чехла большие ножницы и – к черту мелки-булавки-стежки-прихватки! – на глаз, по наитию вырезала силуэт платья, затем молниеносно приметывала и усаживала его на фигуру. Эта неопрятная карга, своими бородавками пугающая малых деток, изумительно чувствовала форму.

Заказчиц и их робкие пожелания в расчет не брала: эдакий вздор, отрезной верх – при ваших ногах-колонках?! при вашем животе-подушке?! Не делайте мне головную боль! – И отмахивалась, наклоняя голову к листу бумаги: великий стратег, ваятель Фидий, единорог перед битвой. Вот так, так и так. Ну, пожалуй, плечики можно поднять, чутко выровнять ваш горб, мадам Черниточенко...

Полина Эрнестовна сама изобретала модели, да что там! – она была родоначальницей нового стиля: «долгой корсетью»! Долой-то долой, добавим мы вскользь, но только не в случае Доры. Той она при первой же встрече заявила: – Мы закуем тебя в латы, Дормосевна, солнце. Ты у нас будешь Орлеанской Девой, а не дойной коровой...

Не любила она две вещи: во-первых, возню с обработкой швов (оперные костюмы не нуждаются в мелких глупостях: выходит в «Онегине» дородная Татьяна в лиловом сарафане, сидящем на ней, как влитой, и кто там из зала станет разглядывать, насколько тщательно обработаны швы?), во-вторых, не любила крутить ручку «Зингера».

Ручку крутил кто-либо из домашних, – обычно, Стеша (кухарка, прислуга, приبلуда...но о ней позже, позже, в свое время). Если же какой-нибудь пирог или жаркое требовали неотлучного присутствия той на кухне, – звали дворничьего сына Сергея; ежели и тот отлучился от ворот, рекрутировали старшенького, гимназиста Яшу. А вот когда, бывало, и Яша усвистал, и Гаврила Оскарович на репетиции...так тут уж – чего? Тут уж на ручку «Зингера» безропотно, что было ей не свойственно, наваливалась сама Дора, и тяжело колыхая незаурядными выменами, прилежно крутила, и крутила, и крутила, смахивая пот со лба, искоса любуясь бисерной стежкой двойного шва, выплывавшего на атласную голубую гладь очередной «грудки».

«Большим Этингером» Гаврилу Оскаровича за глаза почтительно называли все – коллеги, знакомые, соседи, жена, прислуга... Он и вправду был большим: два аршина двенадцать вершков росту, с красивой крупной головой, увенчанной весело рассыпчатым каштановым коком. На крышке концертного фортепиано стояла фотография в серебряной рамке: он с Федором Ивановичем Шаляпиным в дни гастролей того в Одессе, – два великана, в чем-то даже похожих.

Была во всем облике Большого Этингера некая размашистая элегантность, непринужденная уверенность в себе, доброжелательная порывистость эмоций. Музыкантом был до кончиков длинных нервных, с приплюснутыми «кларнетными» подушечками пальцев, и все интересы жизни сосредоточены только на ней – на Музыке! При всей оркестровой занятости, преподавал в музыкальном училище по классу кларнета, состоял в попечительских советах трех благотворительных обществ, а кроме того, руководил хором знаменитой Бродской синагоги, куда на праздники и на субботние богослужения являлись даже и неевреи, и даже христианские священники – послушать игру немецкого органиста из лютеранской церкви, а также изумительные голоса, среди которых сильный драматический тенор Гаврилы Оскаровича вел далеко не последние партии.

Как известно, в начале двадцатого века Одесса была помешана на вундеркиндах. Помимо музыкального училища, в городе, как почки по весне, возникали и лопались частные музыкальные курсы. Чего стоил один только великий малограмотный Столярский, со своей «школой имени мене», – Петр Соломонович Столярский, часами стоявший перед детьми на коленях, ибо именно с такой «позитии» ему было удобнее наблюдать игру и исправлять ошибки!

Само собой разумеется, что детей своих, сына Якова и дочь Эсфирь, Гаврила Оскарович с детства приладил к занятиям музыкой: он всегда мечтал о семейном ансамбле.

Вообще, как все дети из приличных семейств, они, конечно, учились в гимназиях: Яша – в Четвертой мужской, на углу Пушкинской и Греческой, Эсфирь – в Женской Второй классической, угол Старопортофранковской и Торговой (образцовое, заметим в скобках, учебное заведение). Кроме того, до Яшиных пятнадцати лет в семье жила Ада Яновна Рипс, дальняя родственница из Меммеля, обучавшая детей французскому и немецкому; заполош-

ная старая дева, подверженная приступам внезапной и необъяснимой паники, она покрикивала на них, то на одном, то на другом языке.

Дора считала этот метод идеальным, жизненным: «Главное, чтоб за словом в карман не лезли!». Гаврила Оскарович на это иронически отзывался: «Неглубокий же тот карман!» Тем не менее, в конце концов, дети неплохо болтали на обоих языках, чего не скажешь о самой Аде Яновне относительно языка русского. Несколько ее выдающихся фраз вошли в семейный обиход, намного пережив саму эту, похожую на встрепанную галку, старуху в пенсне. «*Уму нерастязжимо!*» – восклицала она, услышав пикантную, радостную или горестную новость. Диагнозом чуть ли не всех болезней у нее было решительное: «*Это на нервной почке!*». Она путала понятия «кавардак» и «каламбур» («В голове у нашего Яши полный каламбур!»), «набалдашник» называла «балдахином», гостей и домашних провожала с пожеланием «*ни пуха, ни праха!*», а когда в семейных застольях галантный и насмешливый Гаврила Оскарович неизменно поднимал тост за здоровье «нашей дорогой Ады Яновны, великой наставницы двух юных разбойников», – она столь же неизменно всхлипывала и страстно выдыхала: «Я перегу их, как синицу – окунь!»...

Но все это общее *так себе образование* (включая гимназии), отец рассматривал исключительно как домашнюю уступку жене, как несущественную прелюдию к образованию *настоящему*. Ибо Гаврила Оскарович Этингер не мыслил будущего своих детей без музыки и сцены, без волнующего сумрака закулисья, где витает чудная смесь пыли, запахов и звуков: дальняя распевка тенора, разноголосица инструментов в оркестровой яме, рыдания костюмерши, которую минуту назад примадонна назвала «безрукой идиоткой»... но главное: праздничный гул оживленной публики, заполняющей полуторатысячный зал – тот истинно оперный гул, что, смешиваясь с оркестровыми всполохами из ямы, прорастает и колосится, как трава по весне.

Так что, Яша сел на виолончель...

– Виолончель, – втолковывал сыну Большой Этингер, – это воплощенное благородство! Невероятный диапазон, потрясающий по красоте теноровый регистр, напряженная мощь звука... Да, из-за огромной мензуры на ней не звучит вся эта головокружительная скрипичная акробатика; да, виртуозные пассажи выглядят чуток суетливыми – вроде как дама габаритов нашей мамочки падает на

руки партнеру в аргентинском танго. Но! Эта неуклюжесть с лихвой окупается качеством тембра! Никакие скрипичные «страсти в ключья» не сравнятся по накалу с яростным речитативом виолончельного *parlando*! И кто лучше виолончели создает эффект грусти? Ты можешь возразить: «а фагот?». Да, фагот потрясающе печалится. Но где ему, бедняге, взять красоту вибрации струнных!... Нет, довольно Одессе батальона младенчиков-скрипачей, – заключал он, решительно прихлопывая огромной ладонью ручку кресла, – все это мода и глупость, а вот хороший виолончелист, что в оркестре, что в ансамбле, всегда найдет себя на нужном месте.

Шестилетнюю Эсфирь, согласно этой практичной концепции, собирались посадить за арфу (арфа: вечная Пенелопа оркестра, прядущая свою нежную пряжу...) – и, надо признать, лебединый изгиб сего древнего инструмента очень шел к кольчатой волне Эськиных ассирийских кудрей. Но девочка была такой крошечной, что не доставала до последних коротких струн. Тогда – делать нечего – отец отправил ее на частные фортепианные курсы Фоминой в Красном переулке, где обнаружился и расцвел один из главных ее талантов: она нот не разбирала, цепко охватывала страницу многозвучным объемным внутренним слухом, играла с листа. Так что, именно Эська оказалась тем чудо-ребенком в семье, на которого стоило ставить.

Честолюбивый Гаврила Оскарович с двойным пылом, отцовским и педагогическим, бросился – как в свое время его папаша-кантонист на редуты противника – на муштру новоявленного дуэта.

По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры второго этажа трубный рев Большого Этингера: «Вступай на «раз и два и!» Не тяни! Это ж уму нерастяжимо! Виолончель в твоих руках – как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!!!»...– и далее – мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.

Но, между прочим, недурной получился ансамбль – «Дуэт-Этингер»: что ни говорите, – отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы...

Спустя пять лет упорных занятий, на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещение пусть небольшое, говорил Гаврила Оскарович, однако публика

порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу: Третью, ля мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано, и виолончельную сонату Рахманинова, – заслужив аплодисменты искушенных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью, и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс» (ни дать ни взять – Пат и Паташон!), - улыбка, которая, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.

Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертировали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории... Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал, каким шрифтом набирать на афише имена, и какие давать фотографии... – когда приключилась эта беда.

Никто из тех, кто знал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста... – никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.

А Яша переменился внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глузду зъихав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылкую ахиною о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей», и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем, с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная кокотка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.

– Кого?! – кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. – Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!

Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квар-

ДОМ ЭТИНГЕРА

тиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого respectable борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!».

Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады, внешность многих «девочек» требовала уважения к летам...С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво брэнчало фортепьяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:

– *«В Одессу морем я плыла на пароходе раз...»*

Или:

– *Меня мужчины очень лю-ю-убят,
Забыла я победам счет,
Меня ласкают и голу-убят,
В блаженстве жизнь моя течет...*

Заблуждению по поводу Яшиных отлучек подалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.

– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «мама, я жив!».

Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:

– *Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-у-ра позволяет...*

– *Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!*

Увы...какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Стешей именовалась «жаждой социальной справедливости» – во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее!».

Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров – в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между

нами-с» наведалься пристав Тимофей Семенович Жарков – культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре...И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из 4-й симфонии Чайковского.

Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то, гнусно отпечатанные, босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Поллобуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!». И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу...такое, ко всему прочему, почтенное семейство, и такой-то срам: чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант..., прибился к босоте и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец...и какой еще только мрази там нет! «Вообразите, на Молдаванке, на Виноградной, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!».

– На...на манекенах?!

– Так точно! Манекены с колокольчиками во всех карманах. Исхитрился вытащить портмоне, не зазвенев, – получи от «учителя» высший бал! Или по шее – коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович...

Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спроводить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как на анархистов имеется предписание, а служебный долг он, сами понимаете, голубчик, Гаврила Оскарович...

Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен, как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретение), ублажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что...

Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).

Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждая с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда дверь за Тимофеем Семеновичем закрылась с деликатным щелч-

ком, Гаврила Оскарович вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.

И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранящиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовской рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой короной», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата...

Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду, к двоюродному брату матери, в Овидиополь, – на неизвестный срок. И собственноручно запер до утра все двери, и даже окна: «Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!».

Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша – ни пуха, ни праха! – бесшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Стешка!) – из денег прихватив только семейную реликвию: «белый червонец», редкую монету из платины (хоть и было на ней выбито «3 рубли на серебро 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мицву.

В своем последнем «прости» – бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами «Вольной коммуны», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь, и вырванным сердцем озарил людям тьму!».

Словом, - «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».

Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не можете знать наверняка – в какие моменты судьбы приносятся нелепые излияния вашего непутевого сына.

Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антре-

соли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то, Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:

*«Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать...!»*

И далее в столь же неукротимом духе, – аккуратно и до конца переписанное стихотворение... Но ведь не это главное, – тем более, что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.

Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша постигла своей запоздалой головой необходимость сохранить пустобрехий листок с подписью, которая через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и гражданской войны?

А ведь и правда: спустя всего несколько лет охотников пожить имущественно «буржуев» Этингеров встречала на пороге рослая Стеша с льняной косой вокруг головы, и подбоченившись, выставив перед собой пресловутый листок с уже известной фамилией, зычным, шершавым, не своим голосом покрикивала: «А ну кто тут посмелей – грабануть дом Якова Михайлова?!»

Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался...

В доме воцарилась подавленная тишина, в которой тягучие, захлеб, рыдания Доры (Яша был ее любимцем) причудливо вторили разбитному треньканью и вечерним призывам «девочки, в залу!», кружили по двору над деревянной галереей, над цистерной для дождевой воды, гулко аукались под низкой сводчатой подворотней, и сквозь вензеля чугунной решетки ворот уносились прочь – на улицу, чтоб безнадежно угасать там, в кроне старой акации.

2

«Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-жиу-вжик!» – сумасшедшие хрущи прошивали воздух вспышками бронзовых крыльев...

Уже заполнялись дачи Большого, Малого и Среднего Фонтанов, уже двинулись туда поездами парового трамвая (в народе прозван-

ного Ванька Головатый), и вагонами конки толпы гуляющих; уже в павильонах Куяльницкого и Хаджибейского лиманов приезжие и местные курортники погружали в «грязевые и рапные ванны» свои обширные зады, обтянутые полосатыми купальными костюмами...

Уже расцвели огромными медными лютиками вынесенные на террасы граммофоны, изливая где рулады Карузо, где страстный вой цыганского романса, а где забубенный тенорок Петра Лещенко... Уже варили в огромных тазах варенье по садам; веселые и праздные дачники уже репетировали домашние спектакли, а над купальнями витал задорный женский визг, да скабрёзно похохотывали ломкие голоса гимназистов...

В фиолетовых тенях под платанами шла непрерывная кутерьма узорчатых солнечных зайцев. Девочки во дворах мастерили куколок-мальвинок: три бутона – голова и руки, а распутившийся цветок мальвы – колокол розовой юбки.

Но Эська давно забросила дворовые детские глупости...

Прошло два года с той ночи, как Яша сиганул в окно и совершенно пропал из виду семьи. Все это время девочка неустанно заливала тоску и тревогу родителей кипящими пассажами этюдов и упражнений, недетским чутьем понимая, что отныне миссия ее – не утешение; вялая ласка утешений еще никого не вернула к жизни. Тут другое нужно: полный и сокрушительный реванш!

И вот, мимо лепных тугощеких ангелов на фасаде, меж бронзовых дев, озаряющих фонарями подножие широкой лестницы вестибюля гостиницы «Бристоль», – самого роскошного, как писали газеты, отеля России, – Гаврила Оскарович Этингер сопровождал дочь на аудиенцию к известной австрийской пианистке Марии Винарской. В третий раз та гастролировала в Одессе, и Гаврила Оскарович через антрепренера театра договорился о прослушивании.

– Папа... – шепотом спрашивала Эська, глаза на позолоту невесомых чугунных листьев парадной лестницы, на сахарные груди скульптурных дев в округлых нишах, на сияющий атлас зеленых гардин, богемские каскады ослепительных люстр в высоких потолках, на малахитовые столешницы и раскоряченные ножки миниатюрных столиков в стиле ампир... – разве там, в номере есть фортепиано, папа?

– Рояль! – отрывисто бросал вполголоса Гаврила Оскарович. –

Она возит его с собой.

– Рояль - с собой? В багаже? Как панталоны?! – Девочка прыснула так, что на нее оглянулся мальчишка-рассыльный.

– Ничего смешного. Марии ведь нужно репетировать. Сама знаешь, как важен свой инструмент.

Большой Этингер волновался, сможет ли его застенчивая дочь показать себя во всей полноте таланта. Высокий кок надо лбом, сильно осеребренный анархистскими похождениями Яши, сейчас казался еще белее из-за темной крови, прилившей ко лбу и вискам.

На самом деле, это только называлось: «аудиенция у Марии Винарской». Все знали, что знаменитую пианистку во всех ее турне сопровождает супруг, профессор Венской консерватории, а точнее – Королевской Академии музыки и исполнительского искусства (*Akademie für Musik und darstellende Kunst*), артистический ее директор и член попечительского совета Марк Винарский. И вот к нему-то, профессору Винарскому, автору книги по фортепианной постановке рук, выдающемуся интерпретатору Шопена и создателю специальных этюдов для развития «шопеновской техники» – да, именно к нему, гениальному Марку Винарскому, Гаврила Оскарович привел на погляд свою тринадцатилетнюю Эську.

Та по-прежнему оставалась миниатюрной, так и не подросла за всю последующую жизнь: метр пятьдесят, и ножка – тридцать третий золушкин размер, в придачу к вечной головной боли – где такие туфельки разыскать. Прежде заказывали у «Брохиса съ сыновьями» («во всѣхъ лучшихъ магазинахъ обуви европейской и азійтской Россіи»), потом остался «Детский мир», где вам выносили инфантильные бантики и пуговики или тупоносые мальчишковые ботинки с коричневыми солдатскими шнурками.

Однако при своем малом росте сия отроковица уже соразмерно оформилась, убирала кудри во «взрослый» узел на затылке, обнажавший фарфоровый стебель шейки, и по-взрослому умно и вежливо глядела на собеседника агатовыми глазами, ужасно стесняясь лишь одного: предательски «вдруг вскочивших» круглых и тесных грудей.

И можно только вообразить, какое впечатление производила эта малышка, шпарившая четырнадцатый этюд Шопена на беспощадной бриллиантовой скорости.

Ее маленькие руки обладали поразительной растяжкой и небывалой для девочки отчаянной силой. Иногда, доставая носком туфельки педаль, она чуть не соскальзывала с рояльного, обитого кожей, табурета (высоту которого, прежде чем дочь села за инструмент, Гаврила Оскарович долго придирчиво устанавливал, подкру-

чивая регулировочные маховики); подпрыгивала, как мяч, выплеснув на клавиатуру пену очередного кружевного пассажа; мечтательно замирала, выпустив из рук угасающий аккорд. Ее точеная головка, с собранными на затылке в узел черными кудрями, мелко кольчатými, как бороды ассирийских царей, строгий профиль, который она рывком оборачивала то к одному, то к другому краю клавиатуры, чуть ли не ухом и щекой приныкая к клавишам на пианиссимо, а на фортиссимо швыряя аккорды куда-то под рояль; ее блестящие глаза, то сощуренные в щелочки, то расширенные как бы в ужасе на громовых каскадах, округлый детский лоб, покрытый испариной, и бешеная погоня по клавишам ее не детских, суховато мускулистых кистей...– все излучало такую подлинность таланта, что Гаврила Оскарович в паузах лишь глубоко переводил дух, мысленно посылая дочери утишающую сдержанную силу и молясь, чтобы ничто не помешало ей отыграть до конца приготовленную программу.

После первых двух минут ее игры из спальни вышла сама Мария: некрасивая, угрюмо-лобастая, как щенок, громоздкая женщина с тяжелым подбородком и маленькими, близко поставленными глазами такой ликующей синевы, что вся ее внешность тушевалась, оставляя только этот властный свет. Она вышла и молча простояла за спиной девочки до окончания игры.

Завершив пьесу, Эська сняла руки с клавиатуры, оглянулась и нашла глазами отца. Папа сидел в кресле чуть поодаль, сцепив кисти рук на колене перекинутой на ногу ноги так, что побелели пальцы, а сам был очень, очень красен. И красив! Он улыбнулся ей и чуть заметно кивнул. Так у них было условлено: сигнал к продолжению.

Она отерла вспотевшие ладони о колени, и выпрямив спину («перед началом всегда глубоко вдохни», говорил отец), заиграла тридцать вторую сонату Бетховена, – сложнейшую...

И когда после раскаленного до минора первой части вылетела на вторую, с разреженным воздухом ее альпийских вершин, накрытых снежными ризами, с ее умиротворенно истаивающим «*Lebe wohl!*» – «Прощай!» последних вариаций, – все бури и потрясения первой части, все земные обиды, и оскорбления, и месть...– Яшкин побег, безумие внезапных Дориных истерик, отца печаль, – все осталось в прошлом, а душа растворилась в беспамятной неге, в синих тенях, скользящих по склону горы, облитому ледовым блеском...

И сливочным блеском сияла клавиатура; и черным плавником огромной акулы вздымалась поднятая крышка концертного рояля.

Высокая стеклянная дверь балкона была распахнута в кроны цветущих акаций; хрустальную вазу в углу распирали букет влажной рыхлой сирени такой пышности, что столик под ним казался робким, как олененок. В воздухе этой, с роскошью обставленной залы, чудесно слились морской солоноватый бриз, духовитая волна от цветущей акации за балконом, тонкий аромат цветов и терпкая горечь духов стоявшей за спиной Эськи молчаливой грузной женщины. Ее безмолвное одобрение, волнение отца, его подрагивающие, сцепленные на колене пальцы, ручки, водовороты и водопады пассажей, изливавшиеся у девочки из под рук, – все обещало недюжинное будущее: вихрь сирени на иных бульварах, переполненные залы, черные фраки оркестрантов, акульки плавники лучших в мире концертных роялей, рукоплескания публики...

Где-то внизу, в порту, в синеве моря и неба длинным и тощим голосом заныл пароход. И словно в поддержку ему, яростно жужжа, с улицы влетел сумасшедший изумрудный хруст, и басовито и торжественно вторя финалу сонаты, проник в самую гущу сиреневого букета.

...Мария подошла и положила на плечи девочке свои прекрасные тяжелые руки. И все задвигались, вздохнули, заулыбались и разом заговорили на трех языках... Профессор достал из кармана большой синий платок и, смешно двигая косматыми бровями, затрубил в него на ре диез – он прослезился во время Эськиной игры.

Вдруг, явно волнуясь, заговорил на языке, похожим на немецкий...ах да, это идиш, поняла Эська, – секретный язык, на который переходит с мамой дедушка Моисей, если хочет, чтобы его не поняли внуки; и напрасно – понятно все, до копейки, и все неинтересно! Оказывается, папа тоже может на нем говорить – да так быстро, перебивая профессора, и тоже волнуясь...

Высморкавшись, профессор заявил, что на своем веку впервые, после Марии (не правда ли, *херилихь*? – и супруги переглянулись), – услышал пианистку столь даровитую, с таким воздушным и в то же время властным туше; что он был бы счастлив учить эту талантливую «мейдэле» по месту, что называется, назначения, а именно – в Вене. Юный возраст не помеха в зачислении на курс в академию; как известно, и Моцарт, и Бетховен...да что там говорить!

Оказалось, что знаменитый Марк Винарский не всегда состоял артистическим директором и членом попечительского совета

Венской Академии музыки, а когда-то был шестым ребенком в бедной еврейской семье в местечке Жосли Виленской губернии; что после скоропостижной смерти отца (тот скончался через два месяца после рождения сына) мать покинула местечко и отправилась на заработки в Вильно, раздав детей по состоятельным семьям. Маленький Марк попал в семью местного врача, доброго бездетного человека, большого любителя музыки. Все это профессор Винарский пробубнил, то и дело сморкаясь, смущенно вставляя в свой немецкий – для Эськи, наверное, – колченогие русские словечки: «исполнитель пахнет, что вол!»

...тут, одурев от сирени, изумрудный хруст поднялся в воздух и полетел в сторону порта, откуда потерянными гудками тянули в терцию - на ля и на до диез - свою песнь корабли пароходства «Австрийский Ллойд».

Эська рассеянно улыбалась, кивала, что-то отвечала на вопросы взрослых. После Бетховена она всегда чувствовала изнеможение, как после долгой болезни с высокой температурой. Она, конечно, была ужасно рада, что аудиенция удалась; но одновременно ей не терпелось скользнуть с табурета, схватить отца за руку и поскорее его утащить. Дело в том, что папа обещал повести ее в кондиторскую Фанкони, угостить мороженым со сливками. Эти двое, обожатели друг друга и оба преступные обожатели сливок, частенько захаживали к Фанкони, где заказывали: мороженое со сливками, пирожное со сливками, кофе со сливками...и – специальным заказом – большую чашку сливок. Это был ритуал: когда дочь, блаженно жмурясь, отхлебывала из чашки мелкими глотками, отец, патетически воздев руки и потрясая ими – (партия Радамеса из «Аиды»), всплескивал тенором, так что официанты с улыбкой оглядывались на их столик: «Сердце полно жаждой мщенья! Мщенье и гибель всем врагам!»

Эська глядела на отца сияющими глазами. Она его очень любила. У папы были чудесные, серые в крапинку глаза в густых ресницах, победного рисунка брови, очень выразительный «таранный» взгляд: прежде, чем он начинал говорить, уже было ясно, о чем он думает...

В тот миг, когда, устремившись с кресла вперед, точно собираясь прыгнуть с помоста купальни, сцепив перед собой сильные кисти рук (а выразительные большие пальцы нервно перекручивали невидимое веретено), он горячо втолковывал профессору что-то о «накопленном репертуаре» дочери, – Эська припомнила некий синий с холодным румянцем день ранней весны, когда классная дама Рыгалина, по кличке «Влюбленная вошь»,

вела группу гимназисток на Дерibasовскую, дом Сепича, – запечатлеться в «Первоклассной фотографии Я. Бълоцерковского, придворного фотографа Его Величества Короля Румынского».

От снега, что выпал на рассвете, но к десятому часу уже раскис, пахло фиалками; холодный ветер с моря перебирал звенящие струны голых деревьев, попутно сгоняя с крыш тяжелые квадриги радужных голубей и рассыпая вслед им гроздья алмазных брызг; лошади волокли под пролетками гремучий цокот копыт по мостовой, и все звуки города ссыпались на бульвар, точно орехи на медный поддон...

Вдруг на другой стороне улицы Эська увидела отца: он выходил из чужого подъезда под руку с элегантной, высокой – под стать ему – дамой в чудесной шляпке с густой вуалью. Но Эська мгновенно даму узнала – по осанке: дочь антрепренера театра Ариадну Арнольдовну фон Шнеллер. Когда папа в детстве брал девочку на репетиции, она раза три оказывалась в ложе с этой изящной холодноватой дамой. И вот отец шел, прижимая к себе ее локоть, слегка наклоняя к ней голову, улыбался, горячился... – в своем распахнутом сером пальто с бархатным черным воротником, в белом шелковом кашне, с кларнетным футляром в руке, – молодой, слегка растрепанный и безумно любимый. Все в груди у Эски радостно по-детски вскрикнуло, предвосхищая возглас «Папа!»... но уже в следующий миг она торопливо отвернулась, громко задала какой-то дурацкий вопрос «Влюбленной воши», уводя внимание от красиво слитной пары впереди (отец мог и случайно встретить знакомую даму, не правда ли!) – и впервые в жизни подумала совершенно папиной присказкой, с папиной же интонацией: «Какая в том беда Дому Этингера!».

И молчок: ни слова - ни самому отцу, ни Яшке, ни Стеше... – ни, тем более, матери.

Тихо улыбаясь, она покручивалась на рояльном табурете, не встречая в разговор взрослых. Знала, что отец подхватит, ответит, объяснит или возразит. Глядела на него с гордым обожанием, предвкушая пиршество под бело-зелеными полосатыми тентами на террасе Фанкони: мороженое со сливками, пирожное со сливками... и отдельным заказом – полную чашку сливок!

Вдруг ее ужалила мысль: а не от чрезмерного ли обжорства сладостями так внезапно и больно выскочили эти противные сливочные сиськи?

Это был триумф Дома Этингера!

Яшина анархистская эпопея, омытая слезами и отчаянием Доры, – вот уж кто готов был расцезь свою закованную в латы грудь и осветить вырванным сердцем возвращение блудного сына! – ее затворничество и мигрени, от которых по три дня раскальвался затылок, ее неприбранный вид и заброшенная «грудка»... – все вмиг отошло на второй план. Все сбережения, накопленные тяжким трудом ее мужа-оркестранта, с абсолютным безрассудством были поставлены на кон. С болью в сердце была продана даже Яшина итальянская виолончель.

Старый картежник Моисей Маранц тоже рвался «финансировать заграничное обучение» любимой внучки, но его сомнительные предложения зять обошел вежливым молчанием. До осени, когда начинались занятия в консерватории, оставались считанные месяцы, и за это время надо было подготовить девочку к новой жизни, обшить с ног до головы в изысканном европейском стиле, сочинить и создать гардероб, который не посрамит и тамошнюю Кертнерштрассе, с великолепием ее дорогих магазинов и разодетых модниц...

Немедленно с запиской к Полине Эрнестовне (ряд восклицательных знаков занимал целую строку) был послан дворничий сын Сергей.

Поскольку работа предполагалась срочная и ответственная, над меню просидели чуть не до полудня. На другой день, с утра и до обеда, не отпуская извозчика, ездили по модным лавкам на Ланжероновскую и Дерибасовскую, в пассаж, в конфексион братьев Пуриц, а также в гранд-конфексион Максимаджи и Гуровича: отбирали материю, пуговицы, крючки-застежки, кружева и тесьму, дымку на вуали...

И уже после обеда великая портниха приступила к священнодействию.

Тут надо бы отметить, что лохматая людоедка обожала дочь Доры Моисеевны. С ее точки зрения, та являлась идеальной моделью: шить на девочку было сплошным удовольствием и чистым вдохновением. С ней не требовалось никаких хитроумных обманок зрения, дополнительных складок для впечатления и надрывных плечиков для сокрытия. Эськина фигурка говорила сама за себя. Ее хотелось поднять на ладони к свету и любоваться пропорциями и линиями – собственно, тем, что в искусстве моделирования боготворила старая портниха. Вымеряя полураздетую, в

одних панталончиках, девочку, Полина Эрнестовна таращила черные, как греческие маслины, глаза, приговаривая:

– Так бы и съела ее на завтрак!

(При этих словах Дора поеживалась и притягивала дочь к себе поближе).

Набывчив голову со знаменитой бородавкой во лбу, – единорог перед решающим сражением, – Полина Эрнестовна рисовала на листках все новые головокружительные модели, вычеркивала те или другие детали, переносила с одного листка на другой рукав-реглан, отрезной лиф или свитерный воротник-хомут, даже не зная этих названий. Она колдовала, бормотала, фыркала и отбрасывала листки. Вновь приступала к работе, составляя списки на все случаи жизни: дорожные платья, деловой костюм, концертное платье...вечернее платье...

Повторим: она не знала выкроек и не употребляла профессиональных понятий вроде: «косой крой», «прямой силуэт» или «заниженная талия».

– Ото так...- бормотала она, - отсюда и вниз до жопки,...а талию повыше,...а грудку ослобонить... Шейку объять кружевцами, плечико – в фонарик...а юбку – вихрем...

Этот «венский гардероб» – единственное, что осталось девочке от европейских мечтаний, – служил ей всю долгую, долгую жизнь, ибо Эсфирь Гавриловна и в старости оставалась такой же хрупкой дюймовочкой, не поправившись ни на фунт.

«Венский гардероб!» – чуть насмешливое, но и любовное словосочетание означало в семье не только содержимое пухлого парусинового саквояжа, который проследовал за нею (а потом и за пределами ее жизни), по десяткам разных адресов судьбы, но и многое иное: ее привычки, стойкость перед лицом трагических перемен, неизменное очаровательное восхищение мелкими и даже убогими радостями жизни...

«Венский гардероб!» – парчово-кружевная, муслиновая, атласная стопка вещей: и платье-«блузон», и платье – «робдестиль» или «чарльстон», и платье-«торсо», с удлиненным лифом и короткой юбкой, с кружевами валансьен, с черной бархоткой на высокой шее... а также блузки, жакеты, накидки, и даже изящная, вышитая бисером шелковая театральная сумочка(серебряная пряжка в виде львиной морды), - и веер к ней, похожий на оперение жарптицы...

А шляпка-тюрбан? а любимая кокетливая шляпка-колокол? (о, шляпка-колокол, бессмертный фасончик, – в гладкой картонке

устричного цвета, снабженная длинной заколкой для закрепления на прическе, со съёмной пипочкой на конце: шляпка заколата, пипочка завинчивается), и – бог ты мой, нет сил перечислять!

Все это в детстве интриговало последнего по времени Этингера, «выблядка-Этингера», настолько, что, играя в школьном спектакле одновременно Себастьяна и Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира, он стащил кружевную Эськину блузку, с отороченным тесьмой лифом, воротником-стоечкой и длинными манжетами, с рядом перламутровых пуговиц до локтя, а нацепив ее, пришел в такой восторг от собственного отражения в зеркале и совершенного преображения, что и в дальнейшем охотно использовал в своих целях детали «венского гардероба», уверяя, что подлинность этих «музейных шмоток», с их легкой лавандовой отдушкой, помогает ему проникнуться образом.

Тут надо заметить, что бабку он изображал чаще, чем кого-либо другого: ее манеру говорить, тщательно отбирая слова, как бы разглядывая их, прежде чем озвучить; ее улыбку, бездумный пассажный пробег суховатых старческих пальцев по поверхностям столов и витрин; серебристый ежик ее подросткового затылка (горстку пепла, оставшуюся от пожара огненных ассирийских кудрей), – добавляя к образу лишь одно: канареечную россыпь своего бесподобного голоса.

... В ином месте и в иное время безобразная старуха Полина Эрнестовна именовалась бы гениальным модельером. Ибо, как любой истинный художник, она интуитивно чувствовала – что взять от предыдущих завоеваний моды, чтобы создать новый уникальный стиль. Венский гардероб грациозной девочки-подростка она безотчетно рассматривала как свой решающий выход на подиум европейской моды. И более того: оглядывая век минувший с того невидимого, но высокого подиума, что выстраивает одно лишь Время, мы со всей ответственностью рискуем заявить, что знаменитое «маленькое черное платье», якобы изобретенное в тридцатых годах в Париже пресловутой Коко Шанель, на самом деле было придумано великой Полиной Эрнестовной в 1913 году, в Одессе, в квартире Большого Этингера, в доме, что на углу Ришельевской и Большой Арнаутской.

(В последний раз Эська надела его в 1984-м, получая грамоту ЦК Комсомола Украины за самоотверженный труд в деле многолетнего музыкального просвещения молодежи).

Рождению гениального замысла не всегда сопутствует всеобщее признание. Напротив, окружающие, как известно, принимают все новое и оригинальное в штывки.

– А это еще что? – недоуменно спросила портниху Дора, двумя пальцами поднимая со стола приметанный черный лоскут. – Рубашка?! Почему черная?

– Та не, то платьишко такое. Выручалка, на все жизнеслучаи.

– Платье?! – Дора онемела, продолжая рассматривать странное прямоугольное изделие, которое, кабы не цвет и плотная материя, могло бы сойти за наволочку. Видит бог, она благоговела перед гением Полины Эрнестовны, но старуха явно сошла с ума: разве в этом девушке можно показаться на люди?!

– Как же это – платье?! Такое... короткое?!

– Эх, Дормосевна, со-олнце, – протянула портниха. – За европейской модой не следишь. Кругом сейчас тенденции (она произносила: «тендентии»).

– Что за... тенденции? Что это значит?

– А то, что жизнь – она, значитца, суровая, а будет хуже; подбери, значитца, дама, свой подол..., да и шуруй. Та ты не опасывайся: я пока подол маленько отпущу. Но только Эська потом его обязательно до колен подымет. И вот с этим платьишком будет меня полжизни поминать: оно само такое – никакое, – и ты шо хошь на него накидавай: манто-шманто, шкурка лисы на плечи голяком...жакет опять же строгий, плюс нитка твоих жемчугов. Вот и получится: и в аудиентию, и на концерт, и на коктейль-вечеринку.

– Какой коктейль? – стонала Дора, ладонями уминая боль в виски. – Какая вечеринка! Голые плечи?! Побойтесь бога, Полина Эрнестовна: девочка едет учиться!

Та отвечала спокойно:

– А вы, мадам Этингер, не желаете видеть дочь старше ее четырнадцати лет, не приведи, господь?

Кто ж знал, что роковым этим словам, вымолвленным в недобрый час, суждено было сбыться так скоро!

3

Уютный хоровод мраморных колонн во внутреннем дворике венского кафе где-то в районе Хофбурга, куда в первый же день по приезде Гаврила Оскарович привел жену и дочь, Эська помнила всю жизнь. В тяжелые минуты, а их было предостаточно, она вызывала в воображении жемчужные плафоны низко висящих люстр в

колоннаде, балкончик в форме бокала во флорентийской галерее второго этажа, подпираемой двумя согбенными фавнами; гнутые спинки венских стульев, крахмальные скатерти, сбрызнутые радужными бликами от алых в золоте витражей арочных окон; и надо всем – купол высокой стеклянной крыши с опаловым облаком, в котором теснилось и переливалось солнце.

– Я угощу вас настоящим венским пирожным, мои прелестницы! – сказал папа и кивнул одному из официантов, подзывая его к столику.

Папа пребывал в отличном настроении еще с того утра в отеле «Бристоль», когда от Эськиной игры прослезился великий Марк Винарский, и ни угрюмый бубнеж его всегда утомленной, всегда недовольной и всегда нездоровой жены Доры, ни драматическая неизвестность с Яшей, ни колоссальные расходы на эту поездку, не говоря уже о будущих расходах на заграничное образование дочери («Ну что ж, а понадобятся деньги – так переедем в квартиру поменьше!»), – не могли поколебать душевного равновесия Большого Этингера.

Он торжественно зачитывал дамам меню, со знанием дела выясняя у благодушного толстяка-официанта состав кремов и соусов. Официант, это даже мама признала по-русски вполголоса – обладал адским терпением!

В конце концов, заказали белого мозельского – выпить за успех будущей студентки, за ее победы; самой Эське – нечто землянично-прохладительное под мудреным названием, а на деле – обычное «ситро», лимонадную шипучку, что подают у нас в буфетах на Николаевском бульваре; и три разных пирожных, чтобы друг у друга попробовать: «Эстерхази-торт», с орехами и кремом, ломтик круглого бисквита «Гугельхупф», и – по выбору девочки – известный венский «Захер-торте», шоколадный, с любимыми ее взбитыми сливками.

Кто-то наигрывал неуверенный вальс на невидимом отсюда фортепиано – принужденно, будто заикаясь. Минут через десять, направляясь в дамскую комнату, Эська прошла мимо тапера, из любопытства скосив глаза. Так и есть: старый инструмент рыжеватой, как кобыла, масти, измученный многими поколениями залихватских брынчал. За клавиатурой – пожилой дяденька, весь какой-то скособоченный. Покатый лоб с длинными залысинами, мгновенные промельки языка по губам, – он напомнил девочке варана из передвижного зверинца. Но пальцы! Восковые, скрученные артритом...ах, бедняга, бедняга! Даже немудреные пьески и песенки, вымученные им из желтоватых клавишей ветерана венских кафе-

штанганов, должны были доставлять старику настоящие страдания. Сердобольной девочке стало так жалко его! Она тут же и сочинила ему судьбу: каморка под лестницей, распитие бутылки дешевого вина при одинокой свече в мятом подсвечнике, и бог знает что еще... Минут через десять тапер закрыл крышку инструмента и удалился, надвинув котелок на скошенный лоб.

Принесли замысловато украшенные кремовыми вензелями и шоколадными розочками пирожные на больших белых тарелках, а в придачу – грациозный сливочник, полный первостатейных сливок, – папа, такой милый, всегда все помнит!

Не притрагиваясь к пирожному, девочка порывисто поднялась со стула, смутилась, села, опять вскочила...

– Можно я поиграю, папа?

– Чушь! – Раздраженно отозвалась мать. – Ты что, прислуга? Поди еще на кухню, вымой им посуду!

А отец улыбнулся и сказал:

– Вперед, доченька. Покажи австриякам класс настоящей игры.

И она подлетела к фортепиано, откинула крышку, замерла на миг, по стрекозьи перебирая пальцами ванильный, коричный, кардамоновый воздух... – и заиграла «Музыкальный момент» Шуберта.

Гаврила Оскарович крикнул от удовольствия и откинулся к спинке стула.

– Умница! – прошептал он и, повернувшись к супруге: – У нее потрясающее чутье на стиль, даже на интерьер. В секунду поняла – что здесь требуется!

Она заиграла легко, вначале как бы шутливо, как бы, между прочим... – хотя все вокруг сразу ощутили пропасть между натужным брэнчанием тапера и игрой этой, неизвестно откуда взявшейся, птичкой-колибри, с блестящей черной головкой, в персиковом платке смелого, но безукоризненно элегантного кроя, так что и понять невозможно возраст его владелицы...

В ход пошли вальсы Шуберта, и вальсы Легара, и вальсы Штрауса-сына...

Сперва одна пара, а за ней еще две-три закружились в аркадах внутреннего дворика, и когда Эська доиграла и опустила руки, публика за столами, и компания минуту назад вошедших, да так и оставшихся стоять господ и дам, и офицер с клинообразными «вильгельмовскими» усиками, утянутый, как оса, в мундир австро-венгерской армии, и группа студентов (один чудной такой, с красной шкиперской бородкой, лицо будто в огне!) – все яростно зааплодировали, а огненнородый крикнул: «Браво!!!»

Тогда Эська, вынув заколку из волос и потрянув рассыпчатыми кудрями, заиграла то, что казалось ей очень созвучным этому месту и этой публике: миниатюры Крейсlera, – сначала изящную, с налетом легкой танцевальной грусти «Муки любви», затем – кипучую и пенную, как шампанское, «Радость любви», и, наконец, – виртуозную, всю на пуантах, то крадущуюся за бабочкой, то раз-метавшую нежные объятия, любимую ее пьесу «Прекрасный розма-рин»...

Вообще, все это были перлы скрипичного репертуара, но Эська всегда с легкостью занимала у любого инструмента его шедевры, перекладывала, преобразовывала, украшала... и преображенными дарила своей любимой клавиатуре.

... Бог ты мой, сколько раз потом Крейслер выручал ее в сценах любви! – не ее любви, увы, – а иллюзионной, затертой просмотрами, реущейся в пленке, надрывной любви синематографических див и лощенных красавцев с нитяным пробором в набриолиненной прическе

Но задорно улыбаясь поверх клавиатуры огненнобородому студенту в венском кафе, – разве могла она даже на миг представить свои многочасовые обморочные экзерсисы в войлочном воздухе темного зала, где сопрягались: вонь от самокруток, пороховой запах мокрых солдатских шинелей вперемешку с запахом дегтя от сапог, пьяная отрыжка расторговавшихся дядек с Привоза, сдобренная сытным духом налузганных за день семечек.

Дымный луч киноаппарата буравил сизый столб над головами зрителей.

И она, со своим потрясающим чутьем на стиль и даже на интерьер, шпарила «Трансвааль, Трансвааль, страна моя», и непрременный «Матчиш», и, конечно же, «На сопках Манчжурии», и – куда от них деться! – «Амурские волны»... Но когда омерзение подкатывало к горлу, а волна тоски накрывала ее с головой, – Эська переходила на благородно-утонченного Крейсlera, иногда лишь раз-бавляя его безыскусной печалью «Полонеза» Огинского...

Кстати, именно «Полонез» она играла в тот вечер, когда один за другим шли сеансы новой ленты «Одесские катакомбы». И по завершении последнего, девятичасового, когда у нее хватило сил лишь опустить крышечку клавиатуры, а подняться со стула уже никакой возможности не было, и, уронив мутную голову на сложенные руки, она собралась забыться совсем чуток, на минутку... – перед нею вдруг вырос и навис над инструментом огромный детина, бровас-

тый и носатый, в отличнейшем кожаном плаще, и густым умиленным басом протянул:

– О-ой, какая пичу-ужска!

Она вскочила, оцепенев от ужаса: на днях банда пьяных дезертиров растерзала певичку в фойе синема, и люди еще передавали друг другу леденящие подробности, хотя удивить кого-то очередным зверством было трудно: город трясся и съезжился, заполняя в подворотни и норы, где укрыться, впрочем, тоже было невозможно. Перестрелки, «эксъ», безнаказанные убийства, самочинные «обыски» налетчиков бесчисленных местных банд... Шайки вооруженных солдат, отпущенных с фронтов ленинским «декретом о мире», громили завод шампанских вин и цехгаузы; из тюрьмы на днях, говорят, бежали восемьдесят пять воров, каких-то «анархистов-обдиралистов», силой остановили трамвай на соседней улице, и, раздев всех пассажиров до нитки, преспокойно сыпанули по стонам. Другая анархистская, как говорил Большой Этингер, – «шобла» сочинила и напечатала в «Одесском листке» манифест с угрозами «начать террор над местным населением за издевательства над ворами, и тем заставить себя уважать!»...

И вот, навалившись на инструмент, этакий-то детина в плаще смотрел на девушку, чему-то ласково изумляясь.

– Так это вы играли так прекрасно всю фильму? – спросил он.

– А вы думали – кто? – еле слышно спросила Эська.

– Я думал, это фортепьяно сам играет, – чистосердечно ответил он. – Механику, думал, завели. Очень как-то...безошибочно! А вот эту расчудесную мелодию: та-ам-тари-рара-там-та-рира-а... – это вы сама сочинили?

– Да нет, – сказала Эська, и устало улыбнулась. – Это «Полонез», сочинение композитора Огинского...

– Ага...Вот как! А такую песенку – «Стаканчики граненья» – играть умеете?

– Ну... ежели напоете, то подберу и сыграю.

– Тогда вам не я напою, а вот он...- и как фокусник достал откуда-то, чуть не из-за спины, маленькую клетку едва ли больше пивной кружки, где резво прыгала, вертя головой и постреливая дробинками глаз, желтая птичка...Детина в кожаном плаще вытянул губы и, приблизив лицо к прутьям клетки, как-то затейливо посвистал, втягивая щеки. Птичка замерла, две-три секунды прислушиваясь к звукам... и вдруг отозвалась чистым и таким переливчатым голоском, что у Эськи дыхание занялось.

– Получите приз: маэстро Желтухин! - Сказал человек в кожа-

ном плаще уже не умильным, а решительным тоном, протягивая девушке клетку с канарейкой. – А заодно привет от брата Яши...

Она играла в венской кофейне, наслаждаясь восхитительным ощущением своей уместности в этом прекрасном мире. Встреча с Винарским была назначена на утро. Завтра, завтра она впервые переступит порог святилища, где ей предстоит учиться несколько наполненных и счастливых – она в это верила! – лет. Но все это завтра...

А сегодня она исполняла перед нежданной и простодушной публикой пьесы Крейсера, - очень венскую по духу музыку сладостной эпохи «Fin de Siecle» – эпохи, не подозревающей, что за углом уже точит топор двадцатый, едва народившийся, безжалостный, смердящий мертвечиной век.

Она играла – птица-колибри под опаловым облаком в высоком стеклянном куполе крыши, – играла, почти не глядя вокруг, не чувствуя усталости, в счастливом подъеме предвкушая куда более головокружительное будущее, загадывая так далеко, как только в юности рискует загадывать непуганая душа...

В следующую минуту все оборвал беспомощный крик отца.

Ее несносная мать, упавшая головой на блюдо с пирожными, перевернутый сливочник, чье содержимое на белейшей скатерти смешалось с хлынувшей носом кровью, бегущий к телефону и сметающий пустые стулья на своем пути официант, суматоха, карета «скорой помощи»,... и странное бесчувствие девочки, и невозможность выдавить ни слезинки из распахнутых глаз: ведь все это происходит не с ней, и не с мамой и папой, а с чьими-то тенями в иллюзионной ленте – сморгнула, и кадр сменился на морскую гладь с легчайшим перышком белого паруса...

Вот только музыкального сопровождения к этой ленте Эська не взялась бы подобрать.

Впрочем, любую фильму, из тех, что впоследствии крутились бесконечной каруселью перед ее глазами, она помнила гораздо яснее и подробнее, чем три страшных венских дня. В памяти застряли отрывочные нечеткие кадры: вот знаменитый венский хирург, светило и бог, рекомендованный профессором Винарским, ставит Доре неутешительный диагноз и настаивает на немедленной операции, – обрыв ленты, свист и топот ног... – и вот уже они с папой возвращаются из больницы «Бармхерциге Брюдер», по обе стороны бульвара оставляя плывущие за спину в туман небытия прекрасные здания «венского модерна»...

Зато всю жизнь помнилось, как надоедливо лезли в глаза ее буйные кудри, ибо любимая заколка для волос, подарок брата на десятый день рождения (свернутая тремя кольцами змейка с глазами-гранатами), уплыла на крышке старого фортепиано в опаловое облако венского обморока...

Всю последующую жизнь Гаврила Оскарович упорно доказывал дочери, что сама операция по удалению опухоли у Доры прошла успешно. Еще бы не успешно – если вспомнить, что на нее ушли все, собранные на Эську учебу, деньги. Просто Дора не проснулась после наркоза – это случается: судьба, рок, выбирайте что хотите, и не о чем говорить, мир ее праху.

Орлеанская Дева тихо удалилась из нашего повествования, отлетев на воздушных шарах своего непомерного бюста.

Всего этого Эська старалась никогда не вспоминать. Музыкакой Крейсlera в уютном венском кафе закончились для нее отрочество, мечты, европейское образование...да, собственно, и музыка сама – вернее, та музыка, с которой душа ее была на равных в неполные четырнадцать лет.

И никогда больше она не притрагивалась к сливкам...

Дня через три в Одессу из Вены поездом возвращались очень тихая Эська с осунувшимся Гаврилой Оскаровичем. Дора следовала другим классом, в вагоне с другими услугами.

...Вернувшись с похорон на Новом еврейском кладбище, где бурно заплаканный отец Доры Моисей Маранц, навалившись на зятя плечом, доверительно сообщил, что «разорен и истерзан, мой мальчик!», поэтому вряд ли сможет снабдить деньгами обучение внучки в европах («Боюсь, Герцль, сейчас не время на меня рассчитывать!») – и что-то еще про морской порт в Херсоне, сокращение хлебного вывоза из Одессы на сорок миллионов пудов зерна; про Дарданеллы, кои наверняка закроет султан, про ставки в бюллетене гофмаклера и... черт его еще знает, какую бесстыдную нес и неуместную в этих обстоятельствах дребедень (видимо, проигрался вчистую!). Вернувшись с похорон, Гаврила Оскарович прошел в супружескую спальню и первым делом увидел брошенную в кресло Дорину «грудку». Монументальное сооружение виртуозной высокохудожественной работы Полины Эрнестовны напоминало обломки выброшенного на сушу фрегата. По обломкам весело прыдали солнечные зайчики от гуляющей под утренним ветерком голубой занавески.

– Герцль! – прошептал Большой Этингер... – Где моя грудка, Герцль?...

Сел на кровать и заплакал...

4

Морские кучевые облака дрожали и уносились в распахнутой створе окна отцова кабинета, которое надраивала Стеша. Она стояла на подоконнике босая, в ночной рубашке, в надетой поверх нее подоткнутой синей шерстяной юбке, и, намяв в обеих ладонях по газетному комку, с двух сторон визгливо протираала вымытое стекло, навалившись грудью на раму.

Вот!

Вот тут мы нашли некий уместный зазор и для Стеши – встроить в наш рассказ, и без того похожий на лоскутное одеяло, еще и Стешин простой лоскут. Ибо обойтись без Стеши в нашем дальнейшем повествовании о Доме Этингера никак не выйдет.

Что поделать! Еще со времен запевалы-кантониста все члены этого незаурядного семейства, умея ловко попасть в общий тон любого окружения, вписаться в общество, легко и блистательно перенять внешние приметы чужого уклада, в сокровенной основе своего существования допускали подчас некоторую...двусмысленность; эдакое «но», или вовсе крохотное «однако», еле заметное «и все же», обойти которые, не заметив или не споткнувшись о них, просто невозможно.

Подобно старому солдату, что носил имя Никиты Михайлова, но являлся им не совсем; подобно Большому Этингеру, при появлении на свет названному Герцлем, но не совсем им оставшимся; подобно тому, как сын его Яша рожден был стать виолончелистом, но... не совсем стал им, а дочь Эсфирь уехала в Вену учиться, но доехала туда не совсем...– так, можно сказать, и Стеша была в их доме обычной прислугой.

Но не совсем.

У Этингеров она пребывала с детства, лет с пяти; тогда у них только-только народилась дочь Эсфирь, пугающе маленький младенец («Гора родила мышь!», развязно шутил легкомысленный папаша Моисей Маранц, раздавая карты для деберца – как называли в Одессе клабор).

Бедная Дора маялась с воспалением своей необъятной груди, в которой для ребенка не нашлось ни капли молока, в доме толклись доктора, кормилица, няня, прислуга, приходящая прачка, и каждый день, вдобавок к газовому отоплению, являлся протопить каминны дворничий сын Сергей: для младенца требовалось усилен-

ное тепло...

И в этакой-то парной суете и бестолковщине однажды утром в прихожей прозвенел звонок. Дверь – так уж получилось – нетерпеливо распахнул сам Гаврила Оскарович (он торопился на репетицию и уже натягивал в прихожей, азартно притопывая, галоши) – с кларнетным футляром в руке, в длинном сером пальто с черным бархатным воротником, в белом шелковом кашне – как обычно, до блеска выбритый и благоухающий одеколоном.

На пороге стоял оборванный старик с обгорелыми усами.

Муторно раскачиваясь, диким и одновременно умоляющим взглядом он смотрел куда-то в притолоку вверх каштанового кока Большого Этингера. В руке обгорелец держал цыплячью лапку до ужаса тощей девочки, – тоже закутанной в какие-то несусветные шматы.

– Все померли, все... – раскачиваясь, бормотал старик. – Люди добрые, возьмите ее в прислуги, не то и эта помрет...

Тут произошло нечто странно-стремительное: девочка ящеркой скользнула в прихожую за спину оторопевшему Гавриле Оскаровичу, схватила веник за дверью и стала подметать паркет мелкими судорожными движениями.

– Постой...э-э-э... девочка, – растерянно пробормотал Большой Этингер. – Насколько мне известно, нам не нужна... у нас уже, кажется,... есть прислуга.

Та продолжала истово подметать, не разгибая тощей спины, ребристой, как спина дракона.

Гаврила Оскарович обернулся к старику...того и след простыл.

Спустя много лет, когда Стеша выросла и стала рослой, широкой в кости девушкой с льяняными, очень мягкими и текучими волосами, которые, заплетая в косу, она выкладывала надо лбом, Гаврила Оскарович любил шутить, что, мол, Стешу к ним привел Ангел-заступник всех погорельцев...Сама Стеша ничего, кроме большого огня, не помнила. Она даже не помнила названия села – а может, и не хотела помнить. Покойная Дора называла ее «запоздалой головой» и считала очень глупой. Но, во-первых, видит бог, Дора и сама философских трактатов не писала, а во-вторых, как на дело взглянуть: нырнуть-то в прихожую, да в веник вцепиться намертво так, что потом до вечера ее отцепить не могли, – девчонка сообразила. Как сообразила намертво забыть имя своей деревни и даже собственную фамилию. Так что – погодим с выводами. Добавим лишь, что одним из самых пленительных образов детства, потрясших ее воображение, стал образ высокого красавца в проеме

двери: с плоской черной коробкой в руке, в длинном пальто с поднятым бархатным воротником, в шелковом белом кашне вокруг шеи, удивленно поднявшего красиво изогнутые брови над добрыми, серыми в крапинку глазами.

По случаю появления в доме «вшивой деревенской худобы» Дора устроила скандал, мигрень с рвотой, обморок и слабость. Но отослать девчонку в сиротский приют все же поостереглась: Большой Этингер предупредил, чтоб, когда вернется после «Травиаты», девочка была накормлена, выкупана и успокоена спать. Почему он так уперся в этом случае – он, который никогда не вникал в «кухонные» дела дома, – было непонятно. Может, и вправду Ангел погорельцев что-то в уши ему надул, в его музыкально чувствительные уши? Это Дору настораживало и слегка пугало. Но она всегда очень тонко чувствовала, когда ее мигрень сработает, а когда окажется и вовсе бесполезной.

Вот так и получилось, что Стешу ни выгнать, ни отправить восвояси не было никакой возможности. Пришлось выправить ей приличные документы и записать все на ту же фамилию, - ничего, от нас не убудет, приговаривал Гаврила Оскарович, какая в том беда Дому Этингера...

Было время, он носился с идеей девчонку образовать, дать какую-то профессию, например, костюмерши или гримерши (он мыслил только категориями театра, этого бутафорского, но такого грозно-волшебного мира)...Куда там! Стеша и вправду оказалась фантастически непригодной к любой учебе. Музыкального слуха у нее не нашлось ни на грош; считать и писать со страшными муками и скрежетом зубовным обучил ее старшенький, Яша. Хотела Стеша только ставить тесто на пироги, томить бульон, жарить оладушки, чисто стирать, а паркет надраивать до «медовой слезки» (все это она уже в детстве делала гораздо лучше тогдашней прислуги, глуховатой старой каракатицы Лидии, выгнать которую ни у кого в семье много лет не доходили или, лучше сказать, не поднимались руки); а главное, она хотела мыть и мыть, и высушивать-провеивать меж ладоней, и расчесывать гребнем, и бесконечно лелеять и выплетать, и венцом выкладывать мягкую льняную пряжу своих волос так, словно и спустя много лет отмывала их от сажи давнего пожара.

Яша называл подросткую Стешу «Лорелеей» и громко декламировал с насмешливой гримасой, явно притворной: «Их вайс нихт, вас золь эс бедойтн...». И не зря: прозвище «Лорелея» имела также мраморная наяда в углу их несуразно огромной – метров в сорок – и

несуразно роскошной ванной комнаты: мрамор, зеркала, погребальная ладья фараона на бронзовых львиных лапах (папа шутил, что архитектор явно перепутал их ванную с тем же помещением у «девочек» в доме напротив). Неясно, для каких функций соблазнительная наядда приплыла сюда под водительством романтика-архитектора; впрочем, в раннем Яшином отрочестве кое-какую функцию за ней приметили: Дора обратила внимание на то, что мальчик подозрительно долго моется, после чего острые грудки наядды приходится то и дело начищать зубным порошком, так что Большому Этингеру пришлось, запершись с сыном в кабинете, провести недвусмысленную беседу грозным тоном, через каждые два слова строго тыча указующим перстом в окна дома напротив.

Словом, когда Лидия умерла, нанимать новую прислугу не понадобилось – *Стеша успевала*. Как-то так вышло, что она заняла место и горничной, и кухарки, – а к чему еще одной бабе крутиться на кухне, когда *Стеша успевает?*

Рецепты многих своих кулинарных шедевров она сочиняла сама, не заглядывая в поваренные книги (лень было буквы составлять, уж очень мудрено там писали длинными словами, все мельтешило в глазах); и за этими рецептами к ней навевались пожилые соседские кухарки, присланные вчерашними гостями. Когда старый Моисей Маранц – не последний, между прочим, в Одессе гурман, – прихлебывал знаменитый Стешин супчик с куриными фрикадельками, крохотными, одна в одну, размером с большую пуговицу, – он после каждой ложки отирал салфеткой лоб и выдыхал: «Мама моя!» – фразу, какую произносил только в редкие моменты крупных карточных добыч.

Тихо и прочно Стеша проросла в семью, знала свое место – в комнате на антресоли, куда из кухни вела деревянная восьмиступенная лестница; и, перебив после ужина посуду, замирала там, никогда не посягая на участие в громкоговорной, насмешливой, взрывчато-розыгрышной вечерней жизни семьи.

Взрослых, и даже Яшу, Стеша именвала по имени-отчеству; Эську (младенца, которого когда-то подтирала и нянькала), звала «барышней» и на «вы»; и хотя так и не переняла этингеровой легкости и блеска, образной остроты их речи, артистизма, иронии... – была все же частицей Дома Этингера, – малозаметной, но неотъемлемой и полезной, как впоследствии оказалось, ее частицей.

Как впоследствии оказалось, эта судьбинная «полезность» в свое время была явлена во всей библейской высокой простоте, в виде некой белобрысой девочки с разными глазами. И тут предлагаем

представить себе Фамарь, терпеливо сидящую у дороги в ожидании Иегуды, родоначальника известного колена... У той ведь тоже хватило ума приберечь доказательства его прелюбодейния – посох, кажется, или там перевязь? В нашей истории некий посох тоже имеется, и тоже сыграет свою семейную роль – в надлежащее время...

Однако – стоп, ни слова больше, да и некстати это сейчас, когда окно дрожит на весеннем ветру, и сквозь прозрачное стекло так тревожно и стремительно несутся в наклонную бездну неба морские кучевые облака.

...Эська сидела за ломберным столиком в двух шагах от Стеши, и на уровне глаз видела на подоконнике босые Стешины ступни: крепкие, жилистые, с красными пальцами, с чуть набрякшими от напряжения голубоватыми щиколотками.

Она писала письмо брату...

Как и подозревала покойная Дора, эта мерзавка Стеша была таки замешана в его делишки, знала, где он обретается, и сейчас, растроганная горем семьи, выдала Эське под страшным секретом – «и ни единым духом папаше!» – адрес Яши в Харькове. Собственно, там и адреса-то никакого не было. Писать следовало на Главную почту, да еще и на имя другое: не на Этингера, и даже не на Михайлова, а на какого-то Каблукова Николая Константиновича. Ну, Каблуков так Каблуков, так даже лучше, пусть Яше совсем станет стыдно за все эти недостойные штуки.

Она намеревалась написать брату высокомерное и отчужденное письмо, сухо сообщив о скоропостижной смерти матери, но сидела над листом уже час, а высокомерие куда-то улетучивалось, фразы лепились довольно жалкие, хотелось плакать и ужасно хотелось Яшку увидеть!

«...а еще, – писала она, – вот уж верно говорят: пришла беда – отворяй ворота! – папа недавно возвращался после концерта, и в темноте ступил в собачью кучку...ну и – ты знаешь этот скользкий желтый клинкер мостовой на углу Итальянской и Ланжероновской, – растянулся и повредил руку! Сначала думали – пустяк, растяжение связки... – ан нет, все куда серьезнее, и доктор Киссер со станции медицинской помощи считает, что связка порвана, а выздоровление – дело дальнее. Пока папе установили в оркестре небольшой пенсион по болезни, но сезон, конечно, загублен, и он ужасно огорчен, прямо убит. Он бы мог преподавать, но даже думать не хочет в этом направлении: говорит, что педагог, не способный продемонстрировать ученику то, что от него требует сам, –

мошенник и пустобрех. Я предложила продать мамины драгоценности – те дивные кольца, еще от прабабушки, помнишь? – но он уперся, и твердит, что подобные вещи сохраняются в семье на совсем иные, какие-то «большие спасательные миссии». И это уж прямо его фантазии! А ты же знаешь, какой он гордый человек! Как не мыслит своей жизни без музыки. Уверен, и повторяет без конца, что на будущий год я непременно, во что бы то ни стало, поеду к Винарскому в Вену. Все это грустно: на какие средства, не знаю, он рассчитывает. Если б Стеша не выросла в семье (да и идти ей некуда, и ни к чему она не приспособлена, ты же знаешь), то и она сбегала бы от таких затруднений: все дни напролет ходит в одной и той же юбке.

Но ты не должен за нас беспокоиться. Тут у одной «девочки», ты ее помнишь, рыженькая, Лида, разговаривает так забавно, «вавакает», брат – механик в иллюзионе «Бомонд», и он меня туда предложил – о, не смейся, пожалуйста, актерство тут ни при чем! – на предмет музыкального сопровождения новой американской фильмы «Большое ограбление поезда»... Я сначала не могла играть: впечатление сильное, знаешь! Инструмент же совсем бросовый, разбитый и расстроенный. Садись, и вначале кажется – легкие деньги, но к вечеру руки свинцовые, спина раскалывается... Ничего, заработок, однако, недурной. Я потерплю. А еще, Яша...».

Она задумалась. Вдруг вспомнила дачу на Шестнадцатой станции, которую ежегодно они снимали: эту летнюю веселую жизнь, со спектаклями и розыгрышами, с толпой сменяющих друг друга гостей, и приезжих, и гостивших неделями; и закружил теплый ветер с Босфора, смешавшись с запахом чистого сухого белья на веревке, и горячих камней чисто выметенного дворика; возникли перед глазами круг желтого света от керосиновой лампы на вечерней террасе, солнечный переполох листьев в виноградной беседке; слепящая синь неба в отрешках летящих облаков, и слепящая синь моря в заплатках белой парусины...

Вдруг воссиял большой медный таз на огне: это в саду под яблоней Стеша колдует над вишневым вареньем. В самой середке густой багряной мякоти подбирается, подкипает крошечный вулкан лаковой вишневой пенки. И она, Эська, восьмилетняя, босая, в цветастом сарафане, стоит с блюдечком в руках, ждет своей порции сладкого, сладчайшего! приторного приза. А Стеша месит палкой в тазу вулканическое озерцо, испуганно покрикивая: «Сдайте назад, барышня, ну-ка! Обвариться можно сию минуту, не дай боже!»... Но девочка не отходит, заморожено глядя на вулканчик в центре раскаленного багряного озера, облизывая губы, словно на них уже запе-

клась вождеденная лиловая пенка.

И весь длинный летний день – шлеп и лепет, беготня, босая пересыпь маленьких ног по дощатым полам террасы – там, за чаем, папа демонстрирует гостям подарок, привезенный из Карлсбада дедушкой Моисеем: трость с золотым, как говорит Ада Яновна, «балдахинном» в виде оскаленной львиной пасти. Набалдашник, конечно, не золотой, а фальшивый, но особый, с сюрпризом: отвинчиваясь, львиная голова ощеривается коротким, но мощным клинком. «Элегантная вещица», – замечает кто-то из гостей. «Чепуха, блеф, декорация!» – фыркает папа.

Он всегда фыркает при появлении деда – веселого, легкомысленного и рискованного человека с брюшком и курчавыми, как у Пушкина, рыжеватыми бакенбардами.

(Вот уж, рискованного, да. Года два как после банкротства переехал в квартирку на четвертом этаже под крышей, и все болеет, болеет...)

Вдруг она с необычайной ясностью услышала двойную вьющуюся нить родных голосов: вечерами на даче Большой Этингер с сыном пели дуэтом. Начинал отец без предупреждения, когда после чая наступала пауза, Стеша убирала со стола, мама переходила в бамбуковую скрипную качалку, обессилено падала в нее и прикрывала глаза. И папа тоже, прикрыв глаза, будто издали начинал, с такой дорожной мечтательной грустью:

«Од-но-звучно греми-ит ко-о-ло-кольчик...и до-ро-о-о-...»

– и томительно Яша подхватывал: - «...и дорога пылится слегка-а-а...».

Дача на горе стояла, близко к обрыву, с террасы распахивалось море со своей безудержной переменчивой жизнью, с такими закатами, с таким багряным солнцем в багряных волнах...Два тенора взмывали и опускались, как два крыла, озаренные заходящим солнцем: «И уныло по ро-вно-му по-олю...разлива-а-а...»

А Яша: «разливается песнь ямщика-а-а-а»...

Разные были тенора. У отца – глубокий драматический, очень чувственный, у сына – нежный и юный, переливчатый. Пели так только на даче, «на воле», где все – как бы игра, понарошку, дурачество, – лето... (Яша – очень застенчивый был мальчик, чужих стеснялся)...Но сила чувств такая, что у обоих потом – влажные глаза, и оба их одинаково прячут за небрежной улыбкой. Такая певчая пара была – казалось, их не только отцовско-сыновние отношения связывают, а что-то более сильное, глубинное, голос рода, что ли...

Вот оно, так ясно, так больно: закат, слабый рокот волн из-под обрыва, вспышки маяка вдали, а на террасе - круг желтоватого света от лампы. И два упоительно высоких голоса, взмывающих и парящих, как две чайки - над морем, над степью... «...и замолк мой ямщик, а дорога...предо мной далека, да-а-а-ле-ка-а-а...»

Эське хотелось написать: «Яшка, возвращайся ты, ради бога, пожалуйста, Яшенька, вернись, мы с папой такие одинокие!» – но она упрямо поправила перед собой листок и продолжила: «Еще у меня появилась ученица. Внучка пристава Жаркова. Девочка, как говорила покойная мама, «запоздалая», мало способная, но старательная...»

В окне дома напротив раздернулись малиновые шторы, изнутри толкнули раму, высунулась растрепанная голова одной из «девочек».

– Во денек, – шик! – крикнула она куда-то в комнаты. – Просыпайся, Ангеля!

Оттуда невнятно отозвался заспанный голосок, а другой, мужской голос, густо прокашлялся и сообщил кому-то невидимому:

– Франца Фердинанда застрелили!

– Которого Фердинанда? Лысого? – донесся снизу, со двора тонкий, сразу и не разберешь, женский или мужской - голос. – Кельнера с Ланжероновской?

– Та не, прынца венхерского...О тут пишут: «Одна пуля пробила воротник мундира эрц...эрцхерцоха...и застряла ув позвоночнике...Другая пробила корсет херцохини и застряла ув правом боку...скончался в беспмятстве...».

– А стрелял-то кто?

– Какой-то Хаврила, тоже прынец...не: Прыныцп – то фамилие.

– Жид?

– А я знаю? Пишуть, студент.

– Значит, жид...

Стеща кончила надраивать стекло, ставшее совершенно невидимым, бросила на пол газетные комки и следом спрыгнула сама, в середку солнечной лужи, упруго и весело шлепнув босыми ступнями о паркет.

Эська приподнялась, захлопнула окно и продолжала: «...девочка старательная, хоть и туповатая, так что, в первую голову думаю дать ей упражнения на беглость пальцев...»

5

Нет, Яша в то время никак не мог вернуться в родную семью. Яша был страшно занят: он и сам мог бы сыграть одну из главных ролей в ленте «Большое ограбление поезда», и убедительнейшим образом сыграть, тем более, что партнерами в этой умопомрачительной ленте у него были бы самые разные актеры: от Якова Блюмкина, с его «железным отрядом революционеров-интернационалистов», до – впоследствии – батьки Махно в эпоху его третьего военно-политического соглашения с большевиками.

В Одессу Яша вернулся в незабываемые годы революционного разгула борьбы всех со всеми. Рассорившись и расставшись с другом Блюмкиным, он создал собственную боевую анархистскую дружину, которая входила в подпольный ревком, где каждой твари было по горстке – большевиков, анархистов, левых эсеров...

Вряд ли Эська узнала бы брата, столкнувшись с ним на улице или даже в подворотне собственного дома, где он, к слову сказать, не появился ни разу. Уже в то время он окончательно взял себе солдатскую фамилию деда: Михайлов, и вровень с фамилией полностью поменял облик – заматерел, оброс рыжеватой щетиной, вырос до отцовской коломенской версты, полностью отринув отцовскую обходительность и щепетильность в вопросах морали. Видимо, этингерова способность к мимикрии требовала перевоплощений в совсем иных декорациях эпохи.

А на бедность декораций в те годы актерам жаловаться не приходилось: кровавый, долгий, разрушительный шел спектакль: Одесса становилась то «вольным городом», то именовалась «Одесской республикой», то провозглашалась столицей «независимого Юго-Западного края»... Казалось, сюда, со всей простертой в безумии державы стекались отбросы, чтобы привольно гнить и бродить, вспухая язвами и вонью, изливаясь в Черное море реками крови и гноя. Бушлаты, гимнастерки, седой гармоникой сапоги, на Екатерининской – раздавленное пенсне в двух шагах от перевернутой мужской галоши...

В городе орудовали банды налетчиков и толпы вооруженных дезертиров; через него прокатывались гайдамаки, белые, красные, румыны, французы и сербы... Одних только анархистских союзов, федераций, групп и дружин насчитать можно было с десятков, и всем находилось дело: взорвать типографию, ограбить пакгауз, пристрелить прямо в ателье какого-нибудь фотографа с Большой Арнаутской – «буржуя, заживевшего на крови рабочего люда»...

И тут уж Якову Михайлову, с его боевой анархистской дружи-

ной, нашлось где развернуться. Он имел разветвленную сеть осведомителей, лично завербовав нескольких офицеров денкинской контрразведки, и – артистизм всегда был присущ Дому Этингера, – своих ребят посылал на задания в форме Добровольческой армии. Председатель ревкома товарищ Чижов воротил разборчивый нос от дружины Михайлова, его, видите ли, коробила сомнительная репутация этих «ребят», по большей части, одесских налетчиков. Зато, когда тот же Чижов был арестован контрразведкой – кто выкрал главу ревкома с тюремной баржи в порту?

А когда некий Александров, присланный в Одессу из самого ЦК РСДРП (б), сбежал с кассой ревкома, – кто выследил и выудил того прямо из ресторации, где вор и предатель гулял с компанией подвыпивших денкинцев? Яков Михайлов, о чьей жестокости ходили невероятные слухи. С провокаторами Яша расправлялся лично, и самые крепкие из его «ребят» предпочитали отлучиться покурить, дабы не слышать, что за звуки извлекает бывший виолончелист из человеческих жил...

Да и надо ж кому-то делами заниматься: 17 февраля 1919 года дружина Михайлова взорвала штабной вагон с союзными офицерами...

Тут Яша счел разумным исчезнуть; и далее он всплывал, как поплавок в бурном потоке времени, самым неожиданным образом.

Помирившись с Блюмкиным, подался создавать с ним ревкомы на Подолье, возглавлял один из партизанских отрядов в тылу петлюровцев, и, в отличие от друга, не попал к ним в лапы, а успел бежать в последнюю секунду, голыми руками задушив несговорчивого путевого обходчика, не пожелавшего отдать беглецу свою кобылу.

Впервые он дал о себе знать семье в тот вечер, в синематографе «Иллюзион» на Мясоедовской, когда, после последнего сеанса перед Эськой возник и навис над стареньким фортепиано детина в кожаном плаще, с кенарем Желтухиным в клетке.

«...а также привет от брата Яши», – сказал тот. И эти слова оглушили, полоснули и распахнули Эськино сердце, как рану.

Вначале она подумала, что посланник – а детину звали Николай Каблуков (тот самый Каблуков, на чье имя она писала когда-то Яше длинное наивное письмо, оставшееся без ответа), просто воспользовался родством товарища для личного удобства – может, переночевать надеялся, кто его знает. Однако Эська была весьма строгих понятий: домой привела, чаем, конечно, напоила, а вот ночевать –

извините, сказала твердо, это не в моих правилах.

Да и папе, как заметила она едва ли не с порога, гость почему-то не глянулся, хотя от кенаря папа пришел в неопиcуемый восторг: стал напевать отрывки из арий, пытаясь сходу научить того сложнейшим модуляциям...

И тут гость, не присаживаясь, не сняв своего бронированного плаща, прочитал целую лекцию (вернее, это была вдохновенная баллада, так вибрировал и вздымался волной его голос) - о том, что за диво дивное: русская канарейка! «Соловьем разливался», – говорил позже Гаврила Оскарович с кривой усмешкой.

Оказался Николай Каблуков страстным канареечником и дитемлем – ловцом певчих птиц. Впрочем, и лошадиником тоже. У его отца прежде, «до событий», был, оказывается, конезавод. «Между прочим, наши всегда на скачках призы брали; и у вас тут, на ипподроме Новороссийского общества...». В лошадях он понимал, любил их самозабвенно – поверите ль, ушел из конной бригады Котовского – не мог видеть, как губили там лошадей ...

Стеша накрыла к чаю на ломберном столике в кабинете Гаврилскарыгча (большой обеденный ореховый стол со стульями, с вензелями «ДЭ» – «Дом Этингера» – в изогнутых высоких спинках, остался в столовой, куда на днях вселилась семья какого-то портового начальника).

За чаем гость говорил много, охотно, и вообще, чувствовал себя, как дома. Стешины знаменитые оладушки уплетал своеобразным способом: брал двумя пальцами целую, складывал вчетверо конвертиком и отправлял в рот, словно письмо опускал в прорез почтового ящика. Стеша с минуту наблюдала этот процесс, уважительным взглядом провожая плавное движение щедрой руки...Затем повернулась и отправилась на кухню – жарить следующую порцию.

«Страсть к лошадям – это у нас от предка-цыгана, – продолжал Каблуков. – Не простой был цыган, с тремя фамилиями».

– «Следы заметал...?» – заметил Большой Этингер, со значением бросив в сторону дочери свой говорящий «таранный» взгляд. Эське же немедленно пришло в голову, что в ее семье тоже знают толк в смене имен, и она поспешила сойти со скользкой темы.

– А он заговорит? В смысле – птичка?» – и повела подбородком в сторону клетки с кенарем, который все прыгал и глазиком постреливал; и смутилась от того, как насмешливо, как ласково-снисходительно поглядел на нее Николай.

– «Нет, – ответил он. – Увы, кенари поют, и этого вполне достаточно. Бывали случаи, когда они перенимали пару слов с хозяйско-

го голоса, но это должен быть особый голос, чьи вибрации совпадают с птичьими».

«Такой? – спросил папа, глубоко вдохнул и легко взял самую высокую свою ноту, и держал ее так долго и привольно, слегка улыбаясь глазами, развернув кисть правой руки ладонью вверх – приглашая гостя взять еще оладушку, – что тот даже рот разинул, будто примеривался ноту подхватить и проглотить. А Желтухин – тот страшно взволновался и пронзительно запищал, раскачивая клетку. Тогда папа, наконец, шумно выдохнул – как затекшую ногу переменял, – и все рассмеялись.

Но уже в тот первый вечер между отцом и Николаем Каблуковым произошла тяжелая сцена, которую и вспоминать не хочется: все дело в Яше, в его наглом поручении.

Каблуков называл его «деликатным» – видимо, чувял, что миссия не из простых, дело семейное... И как на грех, вначале случилась еще одна заминка: гость достал из нагрудного кармана френча и торжественно выложил на скатерть монету – тот самый памятный белый червонец, который Яша прихватил, покидая отчий кров через окно кухни. Станный парламентар, он будто предъявлял монету вместо белого флага? Гаврила Оскарович нахмурился, усмехнулся...и промолчал. На червонец не глянул. И гостю при такой реакции хозяина помолчать бы, погодить с дальнейшим поручением. Но тот не разбирал хозяйских настроений – человек сторонний, далекий от привычек и привязанностей Дома Этингера. Долил себе чаю из чайника, отправил за щеку целую сушку...и, посасывая ее, невозмутимо продолжал с оттопыренной щекой.

Речь шла о трех книгах из семейной библиотеки – той, что положил начало еще старый кантонист, а продолжил собирать Гаврила Оскарович. Собрание было не так чтоб очень обширным, но отборным, большей частью музыкального толка: старинные клавиры, книги по композиции, по истории музыки; биографии великих исполнителей... Каждый фолиант помечен фамильным экслибрисом: могучий встрепанный лев, чем-то напоминавший юного Гаврилу Оскаровича, с лапой на полковом барабане, на которой – раструбом вниз – стоит полковая труба. И просторной аркой над ними буквы-кубики: «Дом Этингера».

Было и несколько ценных еврейских книг. А три среди них – прямо жемчужины: «Карта Святой земли», составленная Якобом Тиринусом и изданная в Антверпене в 1632 году, Пармский Псалтирь XIII века, и – редчайшая редкость, гордость коллекции старого солдата: книга неизвестного автора с забавным названием «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят моли-

тве благость и райскую сладость», причем, название напечатано по-русски, но сам текст внутри – на святом языке. Весь изюм, однако, не в названии сидел, а в том, где книга напечатана: в личной типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого – того вольнодумца, что еще в XVIII веке провозгласил в своих владениях на Подолии республику, чеканил собственные деньги, отпустил на волю всех своих крепостных и учредил у себя полную свободу всех верований. По свидетельству потрясенных современников, он разгуливал, облаченный в белую тогу и с венком на голове, поклонялся богине плодородия Церере... А в домашней типографии печатал самые диковинные фолианты – в том числе, вот, и еврейские.

Эти-то бесценные книги и просил у отца через своего порученца (скажем точнее, затребовал – просить он давно разучился), большой чечкинский начальник Яков Михайлов.

Гаврила Оскарович пришел в неописуемую ярость.

– Что?! – крикнул он шепотом. – Ему наследства...наследства ему захотелось?! Да я ради образования своей прекрасной, своей наиталантливейшей...я...я их ради дочери не продал!!! Передайте этому негодяю!!!...да нет, что там!...

Схватил червонец со стола и швырнул на пол, под ноги гостю. Вскочил и выбежал вон из комнаты, хлопнув дверью и топая так, что взволновалась и долго укоризненно качала подвесками любимая Дорина люстра.

Словом, чай допивали тихонько Эська с гостем вдвоем – если не считать Стешу, которая появлялась, – добавить еще два-три кусочка колотого сахара на лядечке (драгоценность!), или поспевшие горячие оладушки (она всегда, даже в голодное время, ухитрялась мастерить эти оладушки из самого бросового продукта, вперемешку с давленными сухарями, – а получалось восхитительно вкусно!).

Каблуков же невозмутимо поднял червонец с полу и, как ни в чем не бывало, положил обратно в карман: мол, что ж поделать – на нет и суда нет, подберу-ка, чтоб не валялось... И сунул за щеку очередную сушку.

Так что, несмотря на душевный вечер, несмотря на жалостную и упоительную песнь кенаря про «стаканчики граненья», Эська вскоре выпроводила гостя на ночь глядя с наилучшими пожеланиями...

Но Николай Каблуков никуда не уехал, а наоборот, стал ежедневно приходиться в «Иллюзион» на последний сеанс, дожидаясь Эськи. Очень полюбил «Полонез» Огинского, и если стремительное действие фильмы не подходило под благородную польскую грусть милой его сердцу пьесы, то Эська потом специально для него исполняла «Полонез» раза три подряд, в романтически пустом темном

зале.

Они гуляли допоздна, чуть не всю ночь. На трамвае добирались до дачи Дунина, где с верхней площадки во весь дивный размах открывалась алмазная зыбь гаснущего моря, широкий угольно-малиновый закат. Вблизи у берега сновали лодки с рыбаками; подалее, волоча за собой четкий пенный след, проходил пароход какой-нибудь аккерманской или херсонской линии, а совсем вдаль, на меркнувшем сизокрылом горизонте восходил дымок парохода или призрачной бабочкой повисал парус каботажного судна...

От дачи Дунина брели по берегу до Аркадии. Шли мимо «скалок» – пластов рыжего ракушняка, источенного прибоем, обросшего водорослями, с бесчисленными пещерками – укрытиями рачков и крабов. Над волнорезами вскипали барашки легких бурунов; рыба чешуя луны с наступлением темноты проблескивала в беспоконной волне...

Желтые всполохи маяка на Большом Фонтане равномерно обжигали черное глубокое тело воды, а в туманную ночь пронзительно кричала паровая сирена.

Николай скупно рассказывал про Яшу, в основном героические эпизоды – понимая, что сестре, да еще музыкантше, не стоит вываливать всей мужской революционной правды о брате.

Однажды – они гуляли на Приморском бульваре, где чуть не из под ног стрижами вычиркивали мальчишки-разносчики с криками: «Одесский листок!» «Одесская почта!» «Требуйте свежую «Почту!»; и на каждом шагу попадались лавки менял, а буфеты шли один за другим, и всюду торговали пампушками и булочками, – она спросила:

– А вы, Николай? Почему остаетесь здесь, а не возвращаетесь туда, где Яша?

Он улыбнулся и с ответом замешкался, и на мгновение она вообразила, что он выдохнет сейчас – из-за вас, мол, Эсфирь Гавриловна (позже, вспоминая эти дни, и замкнутую улыбку в его, на первый взгляд простодушных глазах, не могла простить себе доверчивой глупости).

Он сказал:

– Вы когда-нибудь вслушивались в птичий говор? Вон, голубки: они всегда начинают открытым звуком, а в конце проборматывают, заминают: «акразоттуда...якакразоттуда...» – И легко, но серьезно пояснил, и она видела, что он искренен: - Я, знаете ли, человек бездумный, бездомный, необязательный. Люблю сняться с места – вдруг; сам потом не знаю – что меня подняло. Проснусь утром и думаю – да что эт я тут задержался? скорей полечу-ка даль-

ше... Это от моего промысла такое беспокойство, понимаете? Я ведь – дитель, лошади и зверолов... – и снова улыбнулся абсолютно невиноватой улыбкой, и стал рассказывать, как пасутся в мгlistых потемках луга расседланные кони, позвякивая и мерно шурша травой... – с таким влюбленным лицом, что становилось ясно: никакой невесты ему не нужно.

Была в этом великане, при всей угрожающей стати и грубоватых чертах лица, неожиданная птичья легкость в поведении, и птичья нежность: в разговоре, в телодвижениях. Несмотря на военный прикид и даже маузер в деревянном ящике-прикладе под полкой, он казался человеком из какого-то иного мира, не связанного с миром окрестным, насильственным, ежедневно предъявляющим права на твою душу и жизнь. Вдруг озадачивал каким-нибудь неожиданным наблюдением: уверял, что в Одессе выразительные водосточные трубы, – смотрите-ка, вон одна, суставчатая, с обломком, и тот приставлен, как протез к колену... А та, вон, как штанина, смятая в «гармошку».

Он ей нравился... Особенно в этом длинном плаще, что придавал ему полководческий вид: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник под горло.

Однажды затащил ее в фотографию и уговорил сняться на карточку, – а ведь она терпеть не могла всех этих ненатуральных поз! Посреди пыльной студии громоздился желто-лиловый фанерный утес с проросшей у подножия пенной грядкой морского прибора; над ним в полутьме что-то попискивало. Подняв головы, они обнаружили под потолком клетку со скучающим кенарем. Николай умилился, потребовал клетку снять, и за три минуты каким-то чудом – легкими нежно-вопросительными свистками – кенаря «разговорил». И упросил Эську сняться вместе с птичкой. Сетовал только, что это не великий маэстро Желтухин, а посторонний заурядный певец. Но девушка улыбнулась и ласково потянулась губами к птичке. Так карточка и вышла – ужасно манерная. Она даже огорчилась: этакое дурновкусие!

– Ежели хотите, забирайте ее себе, – сказала ему. Он и забрал. Прижал к губам эту глупую карточку, и положил в один из карманов бездонного своего плаща.

Она уже позволяла ему себя целовать, – целовал он осторожно, будто прикасался к птенцу; звал ее уменьшительными именами смешным умиленным голосом. Перебирая ее пальцы, лежащие в его огромной ладони, изумленно растягивая: «па-а-альчики...», и опуская глаза на крошечные, и вправду обольстительно маленькие

ее ступни в мальчиковых ботинках: - «но-о-ожки»... Тогда она, сердясь и смеясь, сильно стискивала его ладонь, а он притворно ойкал. «Я – пианистка, – удовлетворенная экзекуцией, объясняла Эська. – У пианистов руки, как у борцов»...

И уже волновалась, когда к концу последнего сеанса не видела в зале высоченной, как башня, фигуры, отбрасывающей на экран угрожающую тень.

Понимала, что все стремительно катится к чему-то банальному, но такому остро-счастливому, с прерывистым дыханием, со слезами в горле...

...пока однажды днем в перерыве между сеансами не выскочила из иллюзиона – купить у торговки пирожков на перекус, – и вдруг увидела этих двоих. Поначалу решила – вздор, случайность, глупое совпадение. Но уже знакомая ей слитность фигур (что это было давно-давно? – ах да, папа когда-то, в ее детстве, с некой, прильнувшей к нему дамой, так очевидно прильнувшей, что – гимназистка, соплячка – Эська все поняла).

Они оказались замечательной парой, и заметно было, что гуляют не впервые: Николай Каблуков, дитель и лошажник, и рослая Стеша, с платиновым блеском в промытых косах, и таким белокожим лицом, такими наивно-победными карими глазами, что Эська, впервые увидев ее на улице со стороны, только ахнула: Стеша-то у нас – красавица!

Вот только не стоило ей тащить концертную юбку из «венского гардероба»: шикарно просторная, с вихревым шелковым шелестом – на Эське, юбка была Стеше мала и коротка, а крепкие и набрякшие Стешины щиколотки явно стоило прикрывать. К тому же, стеклярус по подолу, благородно праздничный под концертными огнями, так дешево и плоско блестел на полуденном солнце.

Оставив торговке кулек с пирожками, Эська спокойно и решительно двинулась к ним наискосок через площадь. Увидев ее, Стеша окаменела, забыв вынуть руку из-под локтя дителя. У него же в бровях возник некий птичий переполох. Наверное, мелькнуло у Эськи, голубчики сочли, что *трудолюбивая малютка наяривает амурскую волну, не поднимая зада.*

Ну, что ж: разве не романтичнее вечерняя возлюбленная – дневной?...

– А ну, снимай! – тихо приказала Эська. – Снимай мою юбку!

Сказала просто так, чтоб оконфузить – ну не стала бы она, в самом деле, позорить эту дуреху посреди улицы! Но *запоздалая* Стеша, всегда странно почтительная к «барышне», побледнела див-

ной сметанной бледностью и принялась обреченно стаскивать с крепко сбитых ляжек тесную ей юбку.

– Дура! – крикнула Эська, залившись краской, не глядя на щебечущего Каблукова. Впервые в жизни она так грубо обращалась со Стешей. – Иди домой, дура!

И не оглядываясь на этих двоих, не обращая внимания на вопли торговки, скрылась в дверях иллюзиона: любовь-морковь, а через пять минут начинался сеанс. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...».

Ту ночь девушки проплакали – каждая в своем углу. В то время квартиру Гаврилы Оскаровича еще не свели к одной лишь Эськиной комнате и Стешиной антресоли. Хотя супружескую спальню Этингеров уже занимал шофер какого-то портового начальника, с женой и двумя шумными и толстыми мальчиками-близнецами Юркой и Шуркой, а в Яшиной комнате поселилась стенографистка Управления железной дороги со старой теткой. Просторную залу для приемов, и смежную с ней столовую, уже года три как отгородили стеной от остальных комнат и пробили новую дверь прямо во двор, на внутреннюю галерею. В кухне по разным углам втерлись три мерзких лишних стола.

За Этингерами остался кабинет, прибежище отца, смежная с ним Эськина комната, да «на задворках» кухни – Стешина каморка, где она сейчас и рыдала – смачно, обстоятельно и вдумчиво...

Она стояла перед выбором, и до рассвета должна была решительно определить своей *запоздалой* головой правильную дорогу. Ведь, откровенно говоря, была уже Стеша перестарком. На улице вслед ей восхищенно свистели матросы, и делали разные пиковые замечания торговцы на Привозе. Дважды звал ее замуж сын дворника Сергей, новая власть назначила его управдомом и выделила комнату в полуподвале. Может, и стоило согласиться? Но кривоzubый, хлипкий, и одновременно толстощекий, с противным утиным носом и похабными глазками, Сергей был так далек от образа высокого красавца в длинном пальто и белом кашне! Сравниться с тем мог лишь Николай Каблуков – не красавец, но великан и любезник.

На рассвете она притихла и забылась, почти умиротворенная: она выбрала Этингеров. С ними было понятнее и привычнее, даже в нынешнее заполошное время, тем более, что Коля за эти несколько дней их внезапной любви ясно давал понять, что передвигаться по жизни предпочитает налегке – птичья, мол, натура. Говорил, что теперь в Туркестан подастся – с басмачами биться. А где он,

Туркестан? – спросила Стеша. Каблуков не ответил, но стал увлеченно рассказывать, какие птицы водятся в тех краях, и что в богатых лавках там вешают клетку с канарейками – для завлекательства людей. А вокруг – зеркала, зеркала, и птичка видит в них себя, а думает, что это – другая птичка. И поет ей любовную песню...

Даже удивительно, насколько громила, с маузером под полой плаща, предан такой малости, как канарейка!

Эська же плакала беззвучно и яростно, вжимаясь лицом в подушку, мокрую уже с обеих сторон. Тем более непонятно – как мог услышать ее папа. На рассвете он постучал и тихо вошел: в старой домашней куртке с бранденбурами поверх пижамы, по-прежнему красивый – глаза грустные, серо-красчатые, растрепанная снежная прядь запорошила лоб.

Сел в кресло у постели дочери, включил настольную лампу и тихо сказал:

– Я так и знал, что ты втюрилась в этого прощельгу, в ловца певчих птичек!

– Папа, оставь, – взмолилась гундосая Эська, щуря в свете лампы опухшие красные глаза.

– Кстати, – продолжал он, – с полки исчезли все три запрошенных Яшей книги. Это как три фамилии предка-цыгана, прости за метафору. Как думаешь – дитель сам украл, или подговорил нашу бедную девочку, задушив ей головку?

– Папа, оста-а-авь! – простонала дочь.

– Нет, позволь я закончу, – возразил он тусклым голосом, баюкая левой рукой больную правую, та по ночам сильно его донимала... – Ты должна понимать, что перед тобой – большая дорога артистки, и свой талант ты обязана беречь и ограждать от этой быдлянкой жизни...Всю эту грязь и муть – смитье бездыханное – их смеет время, а тебе скоро в Вену...

– Папа, оставь!!! – взвизгнула дочь и, сжав кулачок, принялась лупить подушку, приговаривая: – Вот тебе – Вена! Вот тебе – Вена!!! Вот тебе – Вена!!!

Он молча поднялся и вышел...

...А Яша в те годы уже перебрался в Москву, поближе к чудесно воскресшему (переломанному, но недобитому петлюровцами) Блюмкину. Тот взорлил неожиданно и пугающе ярко: из эсэра и анархиста – напрямик в начальники личной охраны и в секретари самого наркомвоенмора Льва Давыдовича Троцкого. Приобрел сто-

личный лоск, Яков Григорьевич, оброс приятелями из артистической среды, сам, говорят, стишки пописывал, актрискам посвящал... Как-то успевал на всех фронтах – атлет, кутила и деляга, искусный надувала, неуловимый разведчик, беспощадной жестокости чекист; короче – звезда московской богемы.

Но главное, там, в ВЧК, Блюмкин создал новый отдел – иностранный, внешней разведки, по сути – первую советскую шпионскую сеть за границей, и, едва добравшись до Москвы, Яша немедленно и жарко ворвался в вихрь этих лет: какое-то время крутился в орбите Блюмкина, даже уходил с ним в Персию, где под видом двух дервишей за четыре месяца они подготовили революцию в северных провинциях, свергли мятежного шаха и сколотили из сомнительных отбросов компартию, попутно провозгласив Гилянскую советскую республику...

Вообще, в те годы Яша редко навещался в Россию. Его немецкий и французский (ау, милая старая кляча Ада Яновна Рипс!) – отдавали простецкой прямоотой, отличавшей тамошних незамысловатый люд. Так что, устраиваясь механиком в какую-нибудь берлинскую автомастерскую, или шофером в текстильную фирму в Цюрихе, Яша всюду выглядел уместно и органично. Как говорила покойная Дора – «за словом в карман не лез».

...Три дедовых книги, изобретательно изъятых Николаем из кабинета отца при помощи Стеши, Яша вовсе не рассматривал в качестве наследства. Наследство – любое – он презирал, в старинных манускриптах большого толку не видел. Эта, по его мнению, *местечковая ветошь*, эта *допотопная рухлядь* (а похожие книги собирали *товарищи* по всей России, потроша синагоги, навещаясь даже в закрытые фонды Государственной Библиотеки) – должна была послужить наиважнейшему делу: по заданию начальника ИНО ОГПУ Меира Трилиссера Якова Блюмкина забросили в Палестину под именем Якуба Султан-заде, торговца еврейскими древностями. Приторговывая антиквариатом, тот в короткий срок должен был создать большую разведывательную сеть и боевое диверсионно-террористическое подразделение: молодая и цепкая советская власть намеревалась хорошенько потрепать англичан на Ближнем Востоке...

Какое-то время Трилиссер – а он предпочитал Якова Михайлова «этому трепачу и позеру» Блюмкину, – склонялся отправить их в Палестину вдвоем, дабы Яша за Блюмкиным приглядывал. Но тот вовремя учуял опасность и выкрутился: мол, ни иврита, ни арабского, ни фарси, на которых бегло говорит полиглот Блюмкин, он не знает; может провалить дело.

К тому времени, побывав с Блюмкиным в Монголии, где они помогали тамошним товарищам устанавливать советскую власть, Яша насмотрелся на выкрутасы дружка юности (без выпивки и наркотиков, к которым пристрастился в Афганистане, тот и дня не начинал), – и вовремя отшатнулся. В отличие от хвастливого и упоенного собой Блюмкина, был Яков Михайлов угрюм и молчалив, взвешивал каждое слово, близкими приятелями и длительными сердечными связями не обзаводился. И после безобразной новогодней вечеринки в ЦК монгольской компартии, где перепивший Блюмкин блевал на портрет Ильича и призывал местных коммунистов пить за Одессу-маму... – тем же вечером сел и написал обстоятельное письмо Трилиссеру: подстраховался.

Яшу явно хранила судьба: очень вовремя он это письмо отправил, и вовремя вновь расстался с другом мятежной юности – как раз перед поездкой того в Константинополь, перед его оплошной встречей с изгнанником Троцким.

Так что последующий арест Блюмкина, и неожиданный, ошеломивший многих чекистов его расстрел («А ушел красиво, – одобрительно крикнув, рассказывал Яше один из исполнителей. – «Стреляйте, – кричал, – ребята, в мировую революцию!») – не затронули Михайлова ни в малейшей степени. Но многому научили. И в дальнейшем он мудро предпочитал заграничные командировки высоким назначениям в аппарате ГРУ...

И все же это изрядное чудо, или просто этингерова звезда, что Яков Михайлов уцелел аж до конца 40-го – и это в кровавых-то чистках, следующих волна за волной, в калейдоскопической смене аппарата разведчиков! Возможно, высокое качество добываемой им секретной информации удерживало Центр от последнего шага. Во всяком случае, к тому времени уже были вызваны в Москву и ликвидированы большинство нелегальных резидентов, от которых и через которых шла информация о подготовке Германии к войне. Когда же Михайлов получил приказ срочно вернуться «домой», он недели три еще отбрехивался телеграммами о «чрезвычайной загруженности». Хотя уже прекрасно все понимал.

Спустя столько лет, этот волк, гонимый тревожной памятью и обреченным предчувствием конца, решился напоследок повидать семью. Хотя от семьи в те годы остались Гаврила Оскарович, городской тенор, да Стеша, запоздалая голова.

В Эскиной же судьбе случился тот самый танцевальный поворот на каблучке: ей предложили место концертмейстера у некой испанской танцовщицы, – работа напряженная, гастрольная, приписанная к подмосковной филармонии, так что, месяцами пропа-

ДОМ ЭТИНГЕРА

дая из дому, она разъезжала по невообразимым маршрутам – о чем отдельный железнодорожный припев.

С Гаврилой же Оскаровичем произошла, увы, прискорбная история.

Кто бы мог подумать, что такое случится с умницей, насмешником, трезвейшим человеком, примером иронической уравновешенности мыслей и поступков! Но поскольку перемена происходила весьма постепенным образом, даже близкие поначалу не обратили внимания на первые странности в его поведении.

Началось с того, что Большой Этингер, как сказала бы покойная Дора, – *вернулся петь*.

Стоит ли говорить, каким ударом для блестящего кларнетиста, тонкого музыканта, любимца всего оркестра! – стало расставание с Театром.

Тут жизнь рухнула, тут душа покатила в бездну растерянной тоски и полнейшей ничтожности... – не говоря уж о постоянных муках при одной лишь мысли, что любимая дочь вынуждена зарабатывать на хлеб в презренном иллюзионе целодневным брэнчанием, сопровождадая суетливую дробную раскорячку этого фигляра, как его... – Чарли!

И однажды, когда после рабочего дня Эська валялась у себя на кровати, а по бокам от нее на складках клетчатого пледа дохлыми рыбками валялись ее отработанные руки, Гаврила Оскарович вошел и, потупясь, сообщил, что, пожалуй, нашел выход из положения. Ты, надеюсь, не забыла доченька, о моем голосе? Я ведь зубок знаю весь теноровый оперный репертуар. Да и романсов – сотни две. Что, если мне попробовать петь?

– Где петь, папа... – устало отозвалась Эська, не в силах пошевелиться. Но взглянула в убитое лицо отца и подумала – а, в самом деле, почему бы и нет? Можно поговорить с директором. Пусть в фойе, где публика перед сеансом шатается, неважно... Дело не в деньгах, но чем-то занять его...

– А знаешь, папа... отличная идея, правда!

Гаврила Оскарович оживился, прокашлялся, прочистил горло и очень славно пропел своим драматическим тенором арию Садко из одноименной оперы Римского-Корсакова, широко поводя рукой и свободно держа финальные ноты. Эська даже вяло плеснула ладонями, присев на кровати. Неплохо, неплохо, подумала она. И даже очень хорошо!

(Тут уместно напомнить – тем, кто запомнил, – что драмати-

ческий тенор в диапазоне охватывает простор от «ля» большой октавы до «до» второй; что имеет он еще одно название – *di forza*, «сильный», и это объясняет многое; в частности, недюжинное его место в оперном репертуаре. Это для него, для драматического тенора, написаны партии героические, требующие голосовой мощи и ярких тембровых красок: Радамес. Зигфрид. Отелло. Хосе, как-никак! Да, это – страстные характеры, незаурядные личности, одним словом, люди, способные порвать с прошлым и перешагнуть постылую черту!).

Через три дня Гаврила Оскарович, в отпаренном и отглаженном Стешей костюме с бабочкой, с восставшим серебристым, хотя и несколько поредевшим коком, исполнял перед публикой синематографа, явившейся на очередной сеанс, романс Чайковского «Средь шумного бала...».

Эська, само собой, аккомпанировала. Добившись папиной занятости, она потеряла свои пятнадцать минут отдыха между сеансами, но была утешена его оживленным видом, блеском в чудных крапчатых глазах и вернувшейся статью.

Теперь Гаврила Оскарович целыми днями репетировал, вспоминал теноровый репертуар, по утрам, как и положено, распевался...

Впрочем, пел он целыми днями: пел, прогуливаясь по коридору, пел, просматривая «Одесские новости», вокальным комментарием сопровождая какую-нибудь заметку «нашего корреспондента в Херсоне». На вопросы Эськи или Стеши, как бы шутя, пропевал подходящие по смыслу фразы из арий. Это было утомительно, но еще объяснимо: детство вспомнилось, мечтательно говорил он, колосющийся золотыми переливами отцовский тенор.

Эська по инерции радовалась. Ну, это такой душевный подъем, объясняла она себе...

Душевный подъем, однако, должен был рухнуть в тот день, когда директор синематографа выставил на улицу обоих. У «великого немого» прорезался голос; старые ленты с серенькой моросью блеклого экрана слетали с репертуара, «Трансвааль» вышел из моды; двадцатый век в очередной раз выморгнул соринку из своего бездонного, чудовищно выпученного, равнодушного глаза.

Эська вначале приуныла, но вскоре нашла концертмейстерские часы в одной из частных балетных студий. К тому же, ей обещали место на кафедре вокала в реорганизованной консерватории. Она бегала по ученикам, и когда подворачивалась халтура, аккомпанировала певцам на летних площадках: в Александровском парке, на открытой галерее при ресторане на даче Дунина, в курзале на

Куюльницком лимане...

Папа же продолжал распеваться...

«Приветствую тебя, мой дру-у-у-уг!» – пел он по утрам под дверью Эськиной комнаты.

Это нормально, это бывает у сангвиников, успокаивала себя дочь. Но зароптали соседи, и ропот нельзя было назвать кротким: люди отдыхают после ночного дежурства, чего козлом-то голосить без продыху? В милицию захотел, артист, ебена мать? Эт мы скоренько организуем...

К тому времени соседей прибавилось. Огромная ванная комната квартиры Этингеров раздробилась на целых три комнатки, а для собственно пролетарской гигиены остался тесный закуток с умывальником.

Мечтательную наяду «Лорелею» по просьбе жильцов навестил управдом Сергей, и за небольшую мзду три часа отбивал и крошил киркой ее беззащитное мраморное тело. Долго на помойке валялись острые грудки и нежный конус живота, густо раскрашенный внизу углем дворовыми паскудниками; зато на месте «Лорелеи» освободился угол, немедленно отделенный ширмой для чьей-то тещи.

Ванну, величественную ладью на бронзовых лапах, превратила в кровать рыжая Лида, в прошлом «девочка» из заведения напротив, а ныне уважаемая подметальщица Потемкинской лестницы. Помимо самой ванны, в ее угоды угодило окно с витражом: красная морская звезда, застрявшая в зеленых водорослях; в это окно Лида влюбилась, и мыла-протираала витраж чуть не каждую неделю, даже на Пасху, задорно вопя на весь двор:

– У нас бога нет, кроме Сталина!

Эська ходила по соседям, как побирушка, – объясняла, втолковывала про искусство пения, умоляла понять, выторговывала, обещала вечный покой после девяти вечера. Затем посадила папу перед собой – объясняла, втолковывала, умоляла понять, выторговывала, обещала... Он насмешливо улыбался, добродушно отмахиваясь большой ладонью.

Она устала от его душевного подъема; иногда ей хотелось крикнуть: «Папа, заткнись, наконец!».

Первой опомнилась Стеша. Однажды утром на кухне, задумчиво срезая кожуру с картофелины, она проговорила: «Это он на нервной **почке**». И Эська, набравшая воду в эмалированный чайник, как стояла, так и села на табурет, а вода все бежала, бежала из крана... Почему, с горечью подумала она в тот момент, **почему она**

всегда умнее меня?!

К папе был приглашен известный одесский психиатр Евгений Александрович Шевалев, причем, на протяжении консультации Гаврила Оскарович несколько раз прерывал беседу, принимаясь петь, вроде бы шутя, похохатывающим тенором. На вопросы профессора отвечал, впрочем, толково, приветливо улыбаясь, но словно пребывая на оперной сцене, а лучше сказать, как бы играя в оперетте, где и диалоги есть, и речитатив встречается, но, изюминка, это известно: вставные музыкальные номера.

– Вы спрашиваете, Евгений Александрович, о моем настроении по утрам? «По утра-а-ам, по утра-а-ам...когда со-олнце особенно я-а-а-арко...»

И так далее...

Его уговорили «лечь подлечиться» в клинику на Слободке; всяко бывает, успокаивал профессор, утомление, сложный быт, трагические обстоятельства потери любимого дела, семейные потрясения, перемена жилищных условий...И не волнуйтесь, у нас там не только буйное отделение имеется, есть и весьма культурная публика, приятные собеседники. Отдохнете, поправитесь, и думать забудете про все эти «тра-ля-ля-ля!»

Два месяца Гаврила Оскарович пребывал, как сам потом говаривал, «в цитадели культуры», с присущим ему ироническим артистизмом изображая кое-кого из пациентов, да и самих докторов. Гулял по тенистой аллее больничного двора под кронами акаций, принимал порошки, проходил процедуры... И вышел даже слишком успокоенным; по точному замечанию Стеши – «стреноженным». Рассуждал здраво, но...как-то неуверенно. Произнеся фразу, с вопросительным выражением поднимал на дочь свои чудесные серые глаза под высокомерно-победными бровями: правильно ли сказал. И Эська прокляла себя за такое папино лечение. Пусть бы пел, твердила она себе, когда он пел, он был счастлив, как Желтухин.

Кстати, за последние годы папа так привязался к Желтухину (тот оказался настоящим артистом: обожал публику, с удовольствием исполнял «на бис» «Стаканчики граненые», постреливая по сторонам бедовым своим глазиком), что часто, выходя на улицу, прихватывал кенаря с собой в походной маленькой клетке величиной с пивную кружку; а уж в клинику, тут и гадать не надо, – Желтухин последовал за хозяином скрашивать бестолковое и пустое время лечения.

В целом здоровье папы все же поправилось, у него даже появились два ученика-кларнетиста (расстарались бывшие коллеги по

оркестру). И как раз с учениками он чувствовал себя как рыба в воде: грозно поднимал голос или поощрительно увещевал, или, как прежде, на «раз и два и» стучал об пол знаменитой тростью «с балдахинном», полушутя обещая «отвинтить эту штуку и заколоть кинжалом за фальшивую ноту!».

Короче, жизнь как-то шла и шла себе, шкандыбая вперевалочку, точнее (да простится нам досадная описка!) – сверкая сполохами салютов во славу покорения Полюса, во славу мужественных папанинцев, во славу спасения испанских детей, во славу подвигов шахтеров, строительства заводов, колхозов, мартеновских печей, прокатных станов и Днепрогэса... – и что там еще? – ах, да: «Разя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!».

Дина Рубина родилась в Ташкенте в семье художника. Окончила Ташкентскую консерваторию. Репатриировалась в Израиль в 1990 году. Она – широко известная писательница, автор более 30 книг. Их общий тираж превышает полтора миллиона экземпляров.

Лауреат нескольких престижных литературных премий. Произведения Рубиной переведены на многие иностранные языки.

Она член СП СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля. Живет в Иерусалиме.

Постоянный автор журнала “Время и место”.

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Вам,
Кто меня за плечи взяв
Защитно, как сестру,
Привел меж заповедных трав
К полному костру;

Кто мне не пожалел тепла,
Кто ждал меня в дому,
Вам всем,
К кому я трудно шла
И шла легко к кому;

Вам,
С кем свело меня само
Доверье – взгляд во взгляд,
Я не стихи пишу – письмо
Который год подряд.

Покамест ветер поберёт
Моей судьбы свечу,
С надеждою: «Храни вас Бог!» -
Я над письмом шепчу.

И там, где вас пугает тьма,
Где вы – никто, ни с кем,

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

К вам свет от моего письма
Дойдет сквозь холод стен.

Дойдет – и припадёт к вам сам
В звенящей тишине,
Как я бы вдруг припала к вам
Или как вы – ко мне.

В пространстве бытия,
Иголку в стоге пряча,
Определить, где я, –
Несложная задача.

Я между Вы и ты
Ищу подобье брода.
Я там, где темноты
Пугается свобода.

Я там, где зыбок свет,
Я там, где чёт и нечет,
Я там, где нет побед
И где молчанье лечит.
Там, где искусство жить
Диктуют пораженья.
Где может всё решить
Одно прикосновение.

Где тыщи лет подряд
Любовь дороже хлеба,
Где взгляда ищет взгляд,
Как землю ищет небо.

Где череду недель
В кольцо свивает вьюга.
Где ночи ищет день,
Как ищем мы друг друга.

А.П.

В этом доме сменяются гости, как карты игральные,
И радушен хозяин, и ласков породистый пёс.
И стоят за окном кипарисы, как стражи печальные.
И внезапные ливни февраль пробивают насквозь.

И когда над каньоном лукаво луна затуманится
И любая травинка к ней в полный потянется рост,
Мое сердце не выдержит и безнадежно обманется,
И меж былью и небылью выстроит призрачный мост.

И ресницы сомкнув, я пройду по нему, словно зрячая,
Позабыв, что опоры не будет под ним ни одной.
Мне бы лучше проснуться – и сон этот переиначу я.
Мне бы лучше вернуться – да нет ничего за спиной.

Поверь, Иерусалим:
Была моя бы воля,
Губами бы сняла
С твоих камней слезу.
Здесь вертикаль любви
С горизонталью боли
Образовали крест,
И я его несу.

Я знаю, хрупок мир
И вечность ненадёжна,
И не точны слова,
И уязвима плоть.
Но истина одна
Светла и непреложна –
Одна у нас Земля,
Один у нас Господь.

Прости, Иерусалим,
Я вряд ли вновь здесь буду.
Но будут жечь меня
На северных ветрах
Жар полдня твоего,
Твоей ночи остуда
И за твоих детей
Неистребимый страх.

СТЕПЬ

Здесь беркут бесшумные чертит круги.
Вся жизнь его – воля, расчёт и терпенье.
И крылья упруги его и туги,
И тверд его клюв, и остро его зрение.

Здесь мышь вековому инстинкту верна.
Здесь поиск еды – категория риска.
Отважно петляя в полыни, она
Заранее знает, что смерть её близко.

И я здесь в какой-то из жизней была.
Я терпкий кумыс из бутылки пила.
И страсти иные во мне заслоня,
Охотник и жертва вселялись в меня.

И я то парила кругами в ветрах.
То в горькой полыни свой прятала страх.
Мне эта раздвоенность душу прожгла.
И всё-таки жертвой я чаще была.

И даже сегодня, в безберкутный день,
Затылком я чувствую беркута тень.

У беркута – сила, у беркута – власть.
У жертвы всего лишь защитная масть.
Но так повелось, что везде и всегда
Кому-то – победа, кому-то – беда.

Как камешек на дно реки –
Была и нет, прости! –
Упасть, как выпасть из руки
Того, в Чьей я горсти.

И снова вынырнуть – жива! –
На вожделенный свет.
И душу вывернуть в слова,
Нежней которых нет.

И знать, что лба не остудить,
Не смыть с него печать.
И есть, за что меня судить,
И есть, за что прощать.

И когда две ласточки взрежут небес полотно,
И поймает дрожанье воздуха стрекоза,
И тяжёлый колос в землю сольёт зерно,
И две рыбы замрут в запруде - глаза в глаза;

И в гортани льва провернётся утробный рык,
И Земля покачнётся, про свой забывая вес,
И два облака встречных сойдутся внахлёт и встык,
И глубоким вздохом глухой отзовется лес, -

Вот тогда ты согласишься, что смерть не сильнее нас,
Просто мир на разлуки щедр, а на встречи скуп.
И душа станет легче тела в миллионы раз,
И слова станут легче пуха, слетая с губ.

И строка к строке – обозначат начало дня,
Всё, что прожил ты, подводя под единый свод.
И пока ты смотришь, как кофе бежит с огня
И как пёс-страстотерпец кроссовку твою грызёт, –

Мчится скорый поезд, глотая дорожный смог,
Пролетая жизнь и на спусках не тормозя.
И всё то, что каждый из нас удержать не смог,
Ни догнать, ни обнять, ни окликнуть уже нельзя.

Татьяна Кузовлева – поэт, прозаик, переводчик. Училась на историческом факультете Московского государственного педагогического института. Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.

Автор двух десятков поэтических книг, в том числе: «Волга» (1964), «Россия, берёза, роса» (1965), «Тень яблони» (1979), «Веретено» (1982), «Избранное» (1985), «Сквозь снег» (1997), «Дальний перелёт» (2004), «Между небом и небом» (2008), «Одна любовь» (2012); книг переводов с казахского и таджикского языков; а также книги эссе, прозы, дневниковых записей «Мои драгоценные дни. Стихом разбуженная память» (2013).

Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2000), премии имени Анны Ахматовой (журнал «Юность», 2009). Член Русского ПЕН-центра.

АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА КРОКЕРА

Окончание. Начало в номере 4 (28) за 2013 год

Что придумала Маша

У них в школе бывали всякие особые дни. Например, «*пижамаз дэй*», *pyjamas day* – это когда надо было приходиться на занятия в пижаме. Или «тэг дэй» – *tag day*, в такой день не обязательно надевать форму, а можно носить что угодно, лишь бы ты был одет чисто и аккуратно. Но «*тэг*», кроме всего прочего, это название игры, салки, по-русски. Когда водящий бегаёт за остальными, стараясь прикоснуться рукой. И если это удастся, если получается кого-то осалить, то при этом кричишь: «*тэг!*», что буквально значит: отметка! И тогда водит и догоняет других уже этот кто-то, которого осалили. А ещё бывают дни «*шоу энд телл*», «покажи и расскажи», *show and tell*. Когда можно принести с собой из дома какой-нибудь интересный предмет – игрушку, ракушку, засушенного жука и так далее – показать одноклассникам и рассказать о нем что-то любопытное. И вот такой именно «шоу энд телл» был объявлен в понедельник. Это было логично – дать ребятам возможность похвастаться всякими приобретенными за летние каникулы интересными штуками. И не просто похвастаться, но и поупражняться в умении излагать мысли и факты.

И вот Маша вспомнила: ей есть что показать друзьям-одноклассникам, «*хё класс мэйтс*», *her class mates*. Несколько месяцев назад она зашла с мамой в сувенирный магазин на *Олд хай стрит*, *Old High Street*. Название улицы означает, что когда-то она была

главной в городе. Буквально переводится: Старая верхняя улица. Теперь все изменилось, основные магазины, кафе и рестораны, *Кентаки фрайд чикен, Kentucky Fried Chicken*, и всё такое - уже в другом месте, на новой хай стрит, широкой и длинной. Но новая главная улица – она скучная и очень обыкновенная. Похожие в каждом английском городе есть. А вот *Олд хай стрит* – это совсем другое дело, она старинная и таинственная, настоящая. Узкая, извилистая и очень крутая – отвесно спускается к морю. Если помчишься по ней вниз на самокате-скутере, так разгонишься, что можешь шею свернуть и костей не собрать. Но вообще-то по ней на скутерах и великах ездить не разрешается. Легко представить себе, как когда-то в сумерки или перед рассветом контрабандисты спускались по этой улице к морю, к лодкам. Ведь Фолкстон когда-то в старину и был городом рыбаков и контрабандистов.

На *Олд хай стрит* и магазины необыкновенные. Например, один называется *Уишин Уэл, Wishing Well*. Что можно перевести на русский по-разному. С одной стороны, это может быть «Колодец для исполнения желаний». Кинул туда монетку, задумал желание, и оно исполнится, если, конечно, удержишься, не разболтаешь подружкам о том, чего пожелала. Говорить ведь об этом нельзя никому, даже маме с бабушкой, а то не сбудется. Но уишин уэл может значить и просто: желаем хорошего! Понимай, как хочешь! Неподалеку и лавка старьевщика Уэсли, в которой такие удивительные вещи можно найти, закачаешься! В городе Фолкстоне, между прочим, проживал когда-то самый знаменитый английский писатель Чарльз Диккенс, у которого есть роман «*Лавка древностей*», «*Зи оулд кьюриосити шоп*». Хотя если переводить на русский точнее, должно получиться: «Старый магазин диковинок». Диковинки, объяснила бабушка, это такие странные, необычные, может, даже таинственные вещи. Маша думала: может, Диккенс имел в виду лавку Уэсли? Правда, тот говорит, что с Диккенсом он даже не знаком. Тем боле, что писатель жил давно – в девятнадцатом веке. А сейчас у нас двадцать первый!

Однажды они зашли в эту странную лавку с бабушкой. Маша никак не могла оторваться от полки, на которой были выставлены всякие забавные зверушки, удивительно, где их только Уэсли берет. Это были, конечно, не настоящие, не живые звери, а металлические, фарфоровые и стеклянные фигурки. Каждый мог посмотреть на них с близкого расстояния и даже пощупать. Чем Маша и

занялась. И вот в момент, когда она как раз взяла в руки стеклянную ярко-зеленую лягушку, бабушка закричала сердито:

– Маша, ну сколько можно тебя ждать, в самом-то деле! Нам же обедать пора!

От неожиданности Машина рука дернулась, и стеклянная игрушка упала на каменный пол. И стоит ли удивляться – разбилась. Вернее, удивительно как раз было то, что она не разлетелась на мелкие кусочки, а лишь потеряла одну ногу. Ну, может, еще какие-то небольшие части откололись, но это было совсем незаметно. Маша растерянно подняла лягушку и ее отвалившуюся ногу с полу, держала их в руках, на глазах у нее наворачивались слезы...

– Не плачь! – сказала бабушка и погладила Машу по голове. – Но все-таки в следующий раз, пожалуйста, будь поосторожней! А то ты нас разоришь. Ведь теперь придется за эту дурацкую игрушку, которая тебе совершенно не нужна, деньги платить. Вдруг нам на мороженое не хватит? И имей в виду: с Уэсли тебе самой придется объясняться, мы с ним друг друга не поймем. У меня с ним нет общего языка.

Маша хотела сказать, что платить не обязательно, можно просто приставить ногу к телу лягушки и в таком виде поставить назад на полку. Никто и не заметит ничего. Вон Уэсли занят с другим покупателем, ему не до сломанных лягушек. Но прикусила язык – все же это будет обман, почти как воровство, мама ей недавно объясняла. А обманывать, а тем более воровать, очень стыдно. Но и насчет мороженого, думала Маша, это тоже вообще-то неправда, что денег не хватит. Это бабушка преувеличивает, конечно. Интересно, почему когда дети говорят неправду, это называется враньем, а когда взрослые – то они преувеличивают?

Но все-таки Маша кивнула в знак согласия и понуро пошла к прилавку. *Ай эм сорри, сё, ит симз ай хэв брокен зис фрог, I am sorry, sir, it seems I have broken this frog*, сказала она. То есть: «Извините, сэр, кажется, я сломала эту лягушку». Прибавлять в таких случаях *ит симз, it seems*, это в английском хороший тон. Можно и без этого, сказать прямо, и тебя поймут. Но если скажешь «кажется», то это лучше. Это *мо кул. More cool*. Это круче. И еще: говоря про «кажется», Маша давала шанс Уэсли проявить великодушие и щедрость и сказать: *Нева майнд, гёл! Never mind, girl!* Не обращай внимания, девочка. У меня таких лягушек – завались,

куры не клюют.

Уэсли чуть не уронил отделившуюся ногу.

– Я не нарочно, – торопливо сказала Маша. – *Ай диднт мин ту. I didn't mean to.* Меня напугал кое-кто. Самбади скаэд ми. *Somebody scared me.* И я ее уронила. Ай дропт ит. *I dropped it.*

Хозяин грустно кивнул головой.

– *Уи нид ту нэй фо им нау, доунт уи? We need to pay for it now, don't we?* Нам теперь надо заплатить за нее, не так ли? – сказала затем Маша, все еще надеясь, что хозяин махнет рукой и ответит: *Фогет им. Forget it.* Забудь об этом.

Но тот снова печально кивнул. «Онемел он, что ли?», подумала Маша. А вслух спросила:

– *Хау мач из им? How much is it?* Сколько это стоит?

Маша думала, что в ответ хозяин покажет ей на пальцах, раз он говорить разучился. Но нет.

– *Файв паундз, five pounds,* – сказал он четко.

– Пять рублей...ой, извини, фунтов, конечно, – перевела Маша бабушке.

Вечно она путала: то английские деньги называла рублями, то русские – фунтами. А бабушка уже расстегивала свой кошелек, снова ворча что-то про мороженое. И вот что произошло дальше. Уэсли перевернул лягушку вверх пузом, помазал ее бок клеем из маленького тюбика, крепко прижал к пузу отломанную ногу... Ловок все-таки этот Уэсли! Недаром про него говорят, что у него руки золотые. Через минуту лягушка была как новенькая. «Мог бы в таком случае денег не брать», подумала Маша. Но вслух вежливо сказала:

– *Фэнк ю вери мач, сё. Thank you very much, sir. Большое спасибо, сэр. Ай эполоджайз уанс эгэн. I apologise once again.* Я еще раз прошу прощения.

– *Нева майнд, never mind,* – ответил Уэсли.

«Да, теперь-то, конечно, *нева майнд.* Теперь-то «не обращай внимания». Когда деньги уплачены – на которые, между прочим, килограмм мороженого можно купить!», думала Маша.

Вернувшись домой, она забросила стеклянную лягушку в нижний ящик секретера, где проживали всякие разонравившиеся и сломанные игрушки. И почти забыла о ней. Но вот теперь вспомнила!

Теперь она Маше пригодилась. И даже помогла защитить лягушонка.

Каким образом? А вот каким.

Идею, сама об этом не подозревая, подала ей бабушка. Однажды бабушка прочитала Маше сказку про попугая и кошку. Они жили вместе, в одном доме, вместе с большой человеческой семьей. Люди любили и попугая, и кошку. Но кошка никак не могла подружиться с попугаем и все время норовила напасть на него и съесть. Люди очень огорчались. Ну а попугай – тем более. Совсем ему бедному жизни не стало. И тогда он попросил хозяев купить несколько попугайских чучел и рассадить их в разных местах по всему дому. Так они и сделали. Кошка принялась нападать на чучела, но быстро убедилась, что это не живые попугаи, а мертвые, и перестала обращать на них внимание, а заодно и про живого, настоящего забыла.

«Почему бы и мне не сделать что-то похожее?» подумала Маша.

В понедельник она принесла стеклянную лягушку с собой в школу и, когда пришел ее черед – «*шоу энд телл*», «*show and tell*» – показывать и рассказывать, она достала ее из портфеля. Подружки передавали ее друг другу, всем она очень нравилась. Да и самой Маше она больше уже не казалась такой дурацкой. Она была очень даже симпатичная! Ярко-ярко-зеленая. Точно она не лягушка, а драгоценный камень изумруд. «Осторожнее только, у нее ножка сломана». *Keafул, хё лег из броукен, Careful, her leg is broken*, просила Маша.

Она рассказала подругам, что беда с ногой у нее случилась, когда лягушка бежала из лаборатории в Москве. Там ее научили говорить, правда, только по-русски, а не по-английски. И потом она попала сначала в салат, потом в карман Машиного плаща и прилетела на самолете в Англию, и так оказалась в Фолкстоне.

В общем, Маша рассказывала всё, как оно было, но не в сказке, а на самом деле, но не со стеклянной игрушкой, а с настоящим, живым лягушонком. Все подумали, что это Маша сочиняет, что это *э толл стори, а tall story* – «высокая», то есть, неправдоподобная история. И все же всем этот рассказ очень понравился. Одноклассники и даже учительница громко смеялись, хохотали, и никому из Машиных товарищей даже в голову не могло придти, что это не выдумка, а правда.

На следующий день девочка Лиз снова увидела лягушонка в кармане Машиного платья. И сразу закричала на всю школу: «Ой-ой, у Маши лягушонок!». Но никто ей не поверил. Вернее, все реши-

ли, что речь идет об игрушке. Оу, йес, oh, yes, о да, – сказали все. Оу йес, – сказала даже учительница мисс Тротвилл. Даже она уже слышала, какую смешную историю придумала Маша-Роберта.

– Мы все знаем про лягушку из московской лаборатории. Отличный рассказ! – сказала она.

Никто не захотел Лиз слушать, когда она стала рассказывать, что лягушонок на самом деле прыгает. И увидев, что ее не принимают всерьез, она тоже стала веселиться и смеяться. И с тех пор получалось так, что некоторые Машины подружки знали про мистера Крокера, иногда играли с ним, но ни учителя, ни большинство других учеников не догадывались, что он живой и существует на самом деле. Так сказка перемешалась с реальностью,

– *Токин фпрог! Talking frog!* Говорящая лягушка! – кричал кто-нибудь в коридоре. Но никто уже не обращал на это внимания. Надо было следить только, чтобы миссис Гарреттс или мисс Тротвилл не увидели резвящегося мистера Крокера своими глазами. Тогда бы они перестали уже усмехаться и говорить: *оу, йес! О, да! Маша энд хё фэймос фпрог! Masha and her famous frog!* Маша и ее знаменитая лягушка! *Зи ледженд ов аya скул! The legend of our school.* Легенда нашей школы! Мы все ее знаем! *Уи ол ноу ум!» We all know it!*

Особенно лягушонок полюбил игру *тэг, tag*, салки. Прыгал, пищал что-то непонятное. Не понимал, кто за кем бегают и зачем, но получал большое удовольствие.

На уроках он иногда начинал громко разговаривать в Машином кармане, и тогда учителя говорили: «В чем дело? Кто там шумит? Прекратите болтать! *Стон чэтмин!. Stop chatting!* Маша тогда слегка щелкала его по носу. И говорила вслух: *Coppu!*, «Извините!», *Sorry!*

Как будто это она на самом деле была виновата. И если вредная Лиз вскрикивала: «Это лягушка! Лягушка болтает!», то учителя смеялись, думали, что это Лиз шутит так. И грозили ей пальцем. Ведь говорящих лягушек в жизни не бывает, только в сказках.

В середине недели Маша нашла маленький флакончик из-под лекарства и стала таскать его в школу. Она наливала туда немного воды, закладывала чуть-чуть травы. Флакончик с водой и травой помещался в кармане рядом с лягушонком. Ему это очень нравилось. Немножко воды всегда проливались в карман, но Маша на этот случай подкладывала под флакончик салфетку.

Теперь, решила Маша, надо начать учить мистера Крокера говорить по-английски. Но легко сказать и трудно сделать. Почему? Об этом разговор пойдет дальше. Ква-ква! *Крок! Croak!*

Лягушонок учит английский

У девочки Маши-Роберты была, конечно, большущая путаница в голове с ее двумя языками. И лягушонка она тоже запутала.

Например, Маша говорила:

– *Шо-ом!*

И лягушонок ломал себе голову: что она имеет в виду и на каком языке говорит? Может быть, она так произносит русское слово «чёрт» – его Ран еще в лаборатории в Москве не раз слышал. Так люди говорят иногда, когда сталкиваются с чем-то неожиданным и неприятным. Но с другой стороны, сама Маша научила его английскому слову «*шорт*», *short*, которое значит: «короткий». Так короткий или чёрт? Мистер Крокер робел, не решался спросить. Причем какой странный этот английский язык! В совершенно тех же случаях, когда говорят про чёрта, можно вспомнить и про Бога, сказать: *Гуд Лорд!, Good Lord!* Буквально – «Добрый Господин», а на самом деле – «Боже мой!». Так все-таки чёрт или Бог? Не поймаешь... Или – «*лук*», *look*, тот самый с которого началось их знакомство. Действительно ведь, по-английски – «смотри», а по-русски – съедобный корнеплод и его стебель. Или «лак» – по-русски средство для полирования, а по-английски *luck* – «везение», «удача». Или вот, когда Маша говорит, что ее дедушка – признанный писатель, это ведь не значит, что он побывал в «призн», *prison*, то есть, в тюрьме? Или все-таки значит? А возьмите «*бред*». С одной стороны, английское слово «*bread*» значит «хлеб». Но если у Маши-Роберты в данный момент включена русская половина ее мозга, то она может иметь в виду совсем другое. Ругается, может быть, не согласна с чем-то, считает что-то чепухой, глупостью, бредом.

Но с третьей стороны, у Маши, бывает, обе половины работают одновременно, и тогда происходит полное смешение двух языков. Она ведь вполне может говорить так: *бикоз, because*, я заболела и не пошла в *скул, school*. А лягушонок вовсе не сразу разобрался, что к чему, что «*бикоз*» это по-английски *because* – «потому что». А вот про «*скул*» как раз нетрудно было догадаться, что это «школа», а никакая не «скула». Лягушонок сам был не рад, когда спросил у Маши, а как в таком случае все же сказать по-английски «скула»?

Оказывается: «чикбоун», *cheekbone*. Что конечно, напомнило ему о грустных и страшных делах, творившихся на его родине – в лаборатории, куда приходила одна недобрая тетя, и говорила весело: «Ну что – сегодня чик? лягушек резать будем?».

Счастье все-таки, что ему удалось тогда из лаборатории сбежать через открытое окошко. А открыто оно оказалось потому, что злая женщина имела привычку тайком курить на рабочем месте. И распахивала окно, чтобы никто не почувствовал дыма. Да еще в тот день, торопясь закурить сигарету, дверцу террариума неплотно закрыла. Два прыжка – и он уже был на улице. Но, конечно, лягушонок никак не рассчитывал оказаться потом в самолете, летящем в Англию. Кто же мог знать, что зеленые листья, в которых он устроится на ночь, окажутся совхозным зеленым салатом... И что их упакуют в коробочку и отправят сначала на базу, а потом – в буфет аэропорта «Шереметьево».

Маша учила мистера Крокера английскому языку, а он хотел в ответ научить ее квакать. Но у нее плохо получалось. Совсем непохоже. Такой акцент сильный! Недостаточно старалась, наверно.

Но и у лягушонка с английским выходило не то чтобы очень хорошо. *Not very gud. Not very good.* Но уж он-то как раз старался изо всех своих лягушачьих сил! Ему легко давалось слово хай, hi, что значит: привет! Но и то пришлось много раз повторять, прежде чем он не только запомнил, но и произносить стал правильно. Ведь «х» нужно не так говорить, как будто в горле першит, а так, словно нежно воздух выдыхаешь: *хай... хай... хай*. Неплохо у него получалось и энергичное слова *кул, cool*. Маша объясняла ему, что слово смешное, потому что оно значит «круто», «классно». Но вообще-то сначала оно значило «холодный». Или вот еще. Маша принялась обучать его слову *уи-уи... wee-wee*. То же самое, что и *пи-пи*. А что, в самом деле, важное слово, без него никак не обойтись. «У» в начале нужно произносить как будто маленький, короткий взрыв губами при этом изображаешь. И *пу-пу, роо-роо*, тоже нужно знать, ведь оно значит делать по большому, «а-а» делать. Или как там еще по-русски люди говорят: какать, вот! В слове *пу-пу* ударение надо делать на первый слог, причем звук «п» произносить с придыханием, *п-п-у-у... п-п-у-у...*

– Ну, *пи-пи, уи-уи*, ты можешь и в цветок делать... Много ты не напишаешь, – размышляла Маша, – а вот *пу-пу*... Для больших дел надо что-нибудь придумать....

И Маша отправилась в кухню. И увидела там, рядом с плитой, коробок спичек, и ей в голову сразу пришла идея.

– Ума не приложу, куда это только спички подевались, – недоумевала бабушка. – Я точно помню, как их из магазина принесла. Ох, старость не радость...

Бабушке и в голову не могло придти, что это Маше спички понадобились. И главное – для чего.

И через несколько дней случился скандал, когда мама обнаружила в Машиной тумбочке тот самый коробок.

Когда мама его увидела, она испугалась. Так испугалась, что даже закричала:

– Я тебе говорила, не смей играть со спичками! Это плохо кончится, это пожаром кончится!

– Мама, мама, ну что ты, в самом деле! Я не играла со спичками! И не собиралась даже! Мне же восемь с половиной лет! Я знаю, что со спичками играть нельзя. Я их все в пакетик сложила, вон он в нижнем ящике.... Мне просто коробочка понадобилась...

Мама быстро открыла коробок – спичек в нем действительно не было. Вместо них там оказалась какая-то странная бурая масса.

– Это еще что такое? – удивилась она. – Не пойму что-то... Это пластилин, что ли? Как странно... Давай я его ссыплю куда-нибудь...

– Нет, не надо! Не трогай! – закричала Маша.

И маме показалось, что откуда-то из района цветка тоже раздался какой-то писк, будто кто-то верещал тонким голоском с необычным акцентом: «Только не это! Не делайте этого!».

Мама подошла к цветку, но ничего в нем необычного не увидела. Все зеленое сливалось с зеленым и желтое – с желтым.

Потом она вернулась в центр комнаты и стала опять разглядывать содержимое коробка.

– Не пойму, чем пахнет, – сказала она и поднесла коробок к носу.

– Не надо, не нюхай! – закричала Маша.

– Нет, нет, нет! – пищал цветок.

– Да вроде нет никакого особого запаха, – сказала мама и закрыла коробок. – На тебе твой пластилин драгоценный, забирай. Но в следующий раз не вздумай брать спички без разрешения.

Она забрала с собой пакетик со спичками и удалилась

– Уф-ф, – выдохнула Маша. – Кажется, пронесло. *Уи гот эуэй уиз ум... We got away with it.*

– Уфф, уфф, *зэй!* – вторил из цветка лягушонок.

– Знаешь, кстати, как будет пластилин по-английски? – спросила Маша. – Пластисин. *Plasticine*. А мальчик у нас в классе один из Америки, так он не понимает – ни пластилина, ни пластисина. Когда ему показали, что это такое, он сказал: а, это я знаю. Это – *плэйдоу. Playdough*. Тесто для игры. Смешно, правда? Так что не верь, что в Америке все говорят по-английски. Нет, у них там свой язык, американский. Хотя иногда и похоже, как будто.

«Этого мне еще не хватало! – подумал лягушонок. – Еще и американский учить. Нет, уж! Никакое там не тесто, в коробке-то. Никакое не *плэйдоу*. А совсем даже другая вещь».

Вундерфрэг считает деньги

В субботу Маша проснулась рано. Вынула зеленую стеклянную лягушку из портфеля, поставила ее аккуратно на тумбочку, предвзительно постелив туда бежевую салфетку.

– Кэафул! *Careful!* Осторожно! *Доунт фолл даун эгэн! Don't fall down again!* Больше не падай! – сказала Маша.

И тут же из цветка раздался писклявый голос:

– Кто это? С кем ты, Маша, разговариваешь?

– А, это ты Ран! Здраваться вообще-то нужно. Чему только тебя учили там, в твоей лаборатории! Надо сказать: *Гуд монин! Good morning!* Доброе утро! Потом спросить: Как ты? *Хау а ю? How are you?*

– *Файн, фэнк ю! Fine, thank you!* – отвечал лягушонок. Он выскочил из цветка, в несколько прыжков оказался рядом с Машиной кроватью, она взяла его в руку, подняла на тумбочку, посадила напротив стеклянной лягушки.

– Квой! – ойкнул он. Кажется, испугался.

– Не бойся, это *ё дельюти, your deputy*, твоя заместительница, знаешь такое слово? Нет? Ну, это значит, она тебя замещает. Она вместо тебя... делает всякие вещи.

– Хай, *hi*, привет! – сказал Ран стеклянной лягушке. – *Хау а ю? How are you?*

Игрушка молчала. Ничто не шелохнулось в ее стеклянных глазах.

– Меня зовут Ран – продолжал он. – *Май нэйм из Ран! My name is Ran.* А вас как зовут? *Энд юм из ё нэйм? And what is your name?*

Стеклянная лягушка не отвечала. И не шевелилась.

– Какая она странная, – сказал лягушонок, обращаясь к Маше. – И на лягушку вообще-то не похожа...

– Неужели? – удивилась Маша. – А я думала, похожа.... Но вообще-то ты прав: она ненастоящая, игрушечная. Ты же знаешь, что такое игрушка?

– Кажется...

– Ну эта такая вещь... не всамделишная... Не настоящая, понимаешь? В нее играют... то есть что-то делают понарошку... *Притенд... Pretend.*

– А зачем? – удивился лягушонок. – Зачем притенд? Зачем понарошку?

– Как зачем? Для веселья, конечно! *Фо фан, оф кос! For fun, of course!* Для того, чтобы повеселиться!

Лягушонок ничего на это не ответил.

– Для смеха, понимаешь?

Но он снова молчал. «Наверно, он не знает, что такое смех и что такое веселиться. Как же это объяснить?» – думала Маша.

– Вот я смотрю на тебя и на эту зеленую стекляшку, вы рядом так смешно смотрите. *Ю а соу фанни тугеза! You are so funny together!* Вы такие смешные вместе. *Ду ю андестэнд? Do you understand?* Ты понимаешь?

Но он явно не понимал. Сидел, раздувал шею и молчал. Даже, кажется, загрустил как-то.

А стеклянная лягушка сидела напротив него, как будто смотрела ему в глаза, важная, серьезная, неподвижная. На на самом деле ничего не видела.

Маша не знала, что делать, как объяснить лягушонку такие вещи. Это ведь только кажется, что это просто. На самом деле тяжело. «Потом что-нибудь придумаю», решила она.

– Извини, если тебе не весело, – сказала она. – Давай я спрячу это чудище.

Маша убрала стеклянную лягушку в тумбочку и собралась уже одеваться и спускаться вниз, когда лягушонок вдруг спросил:

– А что такое *паунд? Pound?* Ты сказала что эта твоя... *притенд* лягушка – ты заплатила за нее много этих паундов...

– Ну, во-первых, не я заплатила, а бабушка. Моих карманных денег, *май покет мани, ту рокет мопеу*, не хватило бы... Во-вторых... погоди-ка... ты слова смех не понимаешь, а что такое платить – знаешь? Откуда?

– Да, – гордо отвечал лягушонок, – в лаборатории часто говорили про деньги. Сначала заплати, а потом проси. Вечером деньги, утром – стулья. Гони монету. Руби капусту. Давай бабло. Распилим бабло... Это все про деньги. Но только в лаборатории они назывались рубли.

– Причем тут капуста? – удивилась Маша. – Бабушка умеет ее рубить и солить, шинковать называется. Очень вкусно получается. А бабл... *бабл-гам*, *bubble-gum*, это такая резинка жевательная, из которой пузыри выдуваются, я тебе покажу потом. Но чтобы купить ее нужно заплатить деньги. Рубли – в России, фунты, *pounds*, – здесь, в Англии. Один фунт – это паунд. Много фунтов – паундз. «З» на конце прибавляется. Фунты, паундз – это английские деньги, а рубли – российские. Англичане говорят *рубл*, или *рублз*, если много. В одном фунте – сто пенсов, *one hundred pence*, а в одном рубле – сто копеек.

– Ого! Сто! Зачем так много? – спросил лягушонок.

– Ну, не знаю, так придумали. Для ровного счета, наверно. Боялись, что если сделать меньше, то всем не хватит.

– Зачем вообще нужны, деньги? Почему каждый не может взять себе то, что ему нужно? Я комаров и мух ловлю, сколько мне надо, и никому ничего не плачу. Ни рублей, ни фунтов. Ни *рублз*, ни *паундз*.

– Да, люди когда-то тоже так жили, когда были дикарями... Но сейчас без денег не получается. Смотри: если бы ты захотел поменять своих комариков на какую-нибудь замечательную муху, которая в нашем саду не водится, а ее нужно ловить где-нибудь под Москвой...

- Вообще там есть такая муха, очень вкусная...

- Ну вот видишь... А ты бы захотел поменять наших английских жучков на нее. Но сколько надо дать за муху жуков? Деньги помогут измерить. Как? Ты придешь в магазин и увидишь, что муха продается за пять фунтов. Потом ты узнаешь, что твоих жучков, которых ты тут наловишь, нужно десять штук, чтобы получить за них эти самые пять фунтов. Это называется цена. По-английски: *прайс*. *Price*.

– Почему так много? Несправедливо!

– Ну, я не знаю... Это я так, к примеру, говорю. Может быть, другая цена какая-то получится. Неважно. Главное, понятно, что за одну большую редкую муху придется много отдать мелких жуч-

ков-паучков, которые в каждом саду здесь, под каждым листом...

Ты можешь денег накопить. Каждый день или время от времени будешь продавать жучка или комариков, за фунт или за полфунта. И когда наберешь пять фунтов, сможешь пойти в магазин и купить ту замечательную особенную муху. А там в Москве, наоборот, кому-то нужно много английских жучков. Он продаст муху, получит за нее 250 рублей и на них две недели будет покупать комариков и питаться. И все довольны. И все не зря старались, ловили насекомых... Ну вот и люди тоже так примерно. Только у нас видишь, сколько всякой еды разной и одежды, и книг, и фильмов, и *стэйшнари*, *stationary*, канцтоваров, если по-русски, надо покупать. Надо столько всего разного на всякое другое обменивать, что без денег, *уизаут мани*, *without money*, совсем невозможно было бы. Понял?

Лягушонок молчал. Наверно, стеснялся сказать: «Не-а. Не понял. Сложно это все. Не лягушачьего ума дело».

Маша решила его больше не мучить.

– Ладно. Эниуэй... Anyway... Забудь об этом. Фогет ит. Forget it. Пора завтракать! *Брекфаст тайм! Breakfast time!*

Прежде всего, надо было накормить лягушонка. А для этого необходимо было отправиться в сад, снова там листья собирать. К счастью, за ночь их снова навалило довольно много. Маша посадила Рана в карман, спустилась на *граунд фло*, *ground floor*, земляной этаж, надела специальные садовые *garden shoes*, садовые ботинки, шлепанцы, взяла пластмассовые грабли – и принялась за работу.

Мама с бабушкой опять были страшно удивлены, потрясены даже: да что же это такое с Машей творится? С утра первым делом, только встав с кровати, сразу в сад – трудиться? Да где это видано? Заболела она, что ли? Да есть ли еще такие дети на свете?

Маша краешком глаза заметила, что мама с бабушкой вплотную подошли к высокой прозрачной двери – французское окно, *френч уиндоу*, *french window*, называется – и внимательно следят за ее действиями. Маша ради зрителей с еще большим азартом принялась ворошить листья, сгоняя их затем в одну большую кучу.

Маша не слышала, что они говорят, но догадывалась. А потому старалась, размахивала вилами все быстрее. Всё больше листьев загребала за один раз. А лягушонок радостно скакал вокруг, ловил мошек и наслаждался своим завтраком.

– Осторожнее, ты, *кэаффул, careful*, мистер Крокер! – громким шепотом сказала Маша. – А то они тебя заметят!

Но было поздно. Лягушонок как раз прыгнул высоко-высоко, охотясь за каким-то крылатым насекомым.

– Смотри, смотри, мама! Видишь? Там лягушка с ней рядом прыгает! – сказала мама бабушке.

– Где, где, не вижу!

– Да вон, вон! Слева от Маши.

Мама открыла дверь в сад и стала кричать:

– Маша, Маша! Лягушка!

– Что? – Маша притворилась, что не расслышала.

– Да лягушка, лягушка! Вон прыгает! Настоящая! С тобой рядом! Посмотри налево.

Маша нарочно посмотрела направо.

– Где, где? Не вижу ничего!

– Вечно она путает, где лево, где право! – ворчала бабушка.

– Ничего не понимаю! Что вы кричите такое? Нет здесь никого! *Зеаз ноубоди хиа! There is nobody here!*

Тем временем лягушонок опомнился, понял, что он в опасности, и спрятался под кустом.

Маша как раз закончила собирать листья – они теперь все были аккуратно собраны в одну большую кучу. Теперь их надо было бы ссыпать в зеленый пластиковый мешок, который будет затем помещен в *гарден бин, garden bin* – специальный бак для садового мусора. Раз в две недели местный совет присылал машину, забравшую мешки для биологической переработки.

Маша решила, что она уже достаточно потрудилась. Хватит! *Инаф! Епough!* И мистер Крокер уже неплохо подкрепился. И ей самой уже не мешало бы позавтракать.

Незаметно подхватив лягушонка и засунув его в карман, она отправилась наверх – переодеться и почистить зубы.

– Посиди пока в своем цветке, – сказала Маша лягушонку. – И дведи себя потише! *Куп куайум! Keep quiet!*

– Угу! – квакнул в ответ лягушонок, и вид у него почему-то был очень хитрый. А, может быть, ей только так показалось.

Вернувшись с завтрака, Маша с удивлением обнаружила у себя на тумбочке, на бежевой салфеточке, кучу каких-то черных козявок.

– Это еще что такое? – воскликнула она. – *Вот из зис? What is*

this?

Лягушонок вылез из цветка и проквакал:

– Попробуй, Маша! Они очень вкусные! Лучше чем твои булочки!

Маша поперхнулась.

– Ах, так это ты... это твой подарок, *ай си, I see*, я поняла. Спасибо тебе... *Фэнк ю... бат..., Thank you... but...* Спасибо, но...

– Попробуй, не бойся! Даю честное слово – отличные мошки, – уговаривал Машу лягушонок. – Там один комар есть, побольше остальных, он такой кисленький...

Маше стало нехорошо, как только она представила себе, что она кладет в рот эту мошкару. Фу-у... *Яки! Yucky!* Ей хотелось немедленно сгрести насекомых в кучу и выбросить в мусорное ведро. Но нельзя же было обижать лягушонка. Поэтому она сдержалась. Даже заставила себя улыбнуться.

– Я тебе показывала шоколадную конфетку? *Чоколэт суит? Chocolate sweet?* И что ты мне сказал? Что ква-ква-ква – ты такого есть не можешь. Что сладкое не любишь, тебя от него тошнит. Ну вот, а я не люблю мошкару.

– Маша, ты ошибаешься! Как будет по-английски «я клянусь»?

– *Ай суэа... I swear...*

– Я клянусь! *Ай суэа!* Ты только попробуй, не пожалеешь!

А я суэа, что не смогу этого есть! Пойми, у людей и лягушек еда разная. Я шоколадные конфеты, *чоколэт суитс*, люблю больше всего на свете. И могу их съесть бесконечное количество! Вку-усно! *Ямми! Yummy, Очень вкусно! Вери ямми! Very yummy!* А от твоих мошек меня стошнить может. *Ит мэй мейк ми сик! It may make me sick.* Точно так же, как тебя – от шоколада.

Лягушонок замолчал – кажется, все-таки немножко обиделся. Посидел молча, пораздувал шею. Потом проквакал наконец:

– Жалко. А я думал, может, ты у меня купишь этих мошек. Заплатишь три фунта пятьдесят пенсов.

– Извини, но они мне совсем не нужны, да и денег у меня нет... А почему, кстати, именно три пятьдесят?

– Ты сама сказала, что за десять мошек дают пять фунтов, а в каждом фунте – сто пенсов. Пять фунтов – это сто умножить на пять, получается пятьсот. Пятьсот пенсов разделить на десять мошек, каждая мошка стоит пятьдесят пенсов. Я для тебя поймал пять мошек и одного комара. Его надо считать за две мошки.

Значит, считаем семь. Пятьдесят пенсов умножить на семь – выходит триста пятьдесят пенсов. Или три фунта пятьдесят. А если в рублях – то будет сто семьдесят пять рублей.

У Маши открылся от изумления рот и долго не закрывался.

– Э то... это невероятно! *Ит из инкредибл! It is incredible!* Откуда ты знаешь, сколько это в рублях?

– Ты же сама сказала, что пять фунтов – это двести пятьдесят рублей. Двести пятьдесят разделить на пять, получается, один фунт – пятьдесят рублей. Три фунта пятьдесят умножить на три – сто пятьдесят. И еще половинка фунта – двадцать пять рублей. Итого сто семьдесят пять рублз.

– Поразительно! *Амэйзин! Amazing!* – воскликнула Маша. – Ты что, математический гений? Вундеркинд? Или, вернее, как это... вундерфрэг?

– Нет, – важно отвечал лягушонок. – Просто наша генная Лаборатория была не просто так. А с математическим уклоном.

– Обалдеть! *Блайми! Blimey!*

И долго еще Маша повторяла всякие восклицания, в таком она была изумлении. А лягушонок сидел и важно раздувал шею. Ему, наверно, было приятно.

Лягушонок блещет на математике

Если придти в любую школу в России, в Англии, в Америке или какой-нибудь другой стране и спросить учеников: как вы думаете, какая идея пришла в голову Маше, когда она узнала о необыкновенных математических способностях лягушонка, сколько ребят догадается? В любом классе, начиная, наверно, с третьего сразу поднимется целый лес рук.

А вы как думаете? Вы уже догадались?

Маша была девочка умная, очень сообразительная, вери смат, very smart. Поэтому ей та самая идея, о которой все уже догадались, пришла в голову мгновенно. Однако она не стала сразу говорить об этом вслух, а решила сначала обдумать ситуацию хорошенько. . Ведь это будет не очень честно, не очень справедливо, нот вери фэа, not very fair, если использовать лягушонка в целях... сами знаете, каких. Но с другой стороны, это можно будет считать научным экспериментом, не так ли? *Изнт ум? Isn't it?*

Маше нравилась русская поговорка: утро вечера мудренее. То есть: с утра у людей голова лучше варит, а поэтому с важными

решениями на ночь глядя лучше не торопиться. У англичан, конечно же, есть похожая. Летс слип он ит, Lets sleep on it, говорят они в таком случае. «Давайте поспим на этом». Но смысл совершенно тот же, что и в русском варианте. Маша сказала себе: именно так, надо мне на этом поспать.

И поспала. Только утром в воскресенье, да и то не сразу, а полежав полчаса в кровати и посмотрев в потолок, она, наконец, решилась и высказала идею вслух.

– Мистер Крокер, а ведь получается, что ты – живой калькулятор! Да еще говорящий. Если взять тебя на контрольную по математике, то ты...

– А что такое контрольная?

– Контрольная по-английски будет: *тэст. Test*. Контрольная по математике – *мэџ тэст. math test*.

– Ты хочешь меня взять на этот *тэст*? Зачем?

– Ну... эксперимент поставим... Ты же знаешь, что такое эксперимент?

– Конечно! В лаборатории все время были сплошные эксперименты.

– Ну вот видишь! Очень хорошо! *Веру уэлл! Very well!* Давай пока потренируемся. *Севен таймз эйт, seven times eight*, сколько будет?

Лягушонок молчал, пораженный.

– Ой, извини меня, *ай эм сорри! I am sorry!* Я забыла, что ты английских цифр не знаешь... Севен, seven – это семь. *Эйт, eight* – это восемь. Таймз – умножить. Хотя это вообще от слова «*тайм*», *time*, время, происходит. Но об этом мы позже поговорим. А пока запомни: *севен таймз эйт* – значит семь умножить на восемь.

– Семью восемь – пятьдесят шесть, – проквакал лягушонок.

– Молодец! *Уэлл дан! А сикс таймз севен* – шесть умножить на семь?

– Сорок два, – доложил лягушонок.

– *Джолли гуд! Jolly good!* Здорово! *Ю а соу смат! You are so smart!* Какой ты умный!

Пришлось маме с бабушкой в тот день подниматься наверх, чтобы заставить Машу спуститься на завтрак. Дозваться ее никак не могли. Потому что она не хотела вставать. Лягушонок на этот раз в походе в сад не нуждался, он доедал вчерашние запасы. А ей самой было не до еды – так она увлеклась математической тренировкой мистера Крокера. Но названия английских цифр он запомнил плохо. Придется работать с переводом, решила Маша.

А потом наступил понедельник.

До контрольной было еще далеко, пока можно было попробовать силы лягушонка на обыкновенном уроке. Он неплохо устроился в кармане Машиного платья, снабженный небольшим количеством воды и травы в стаканчике. Мисс Тротвилл объясняла, как перемножать двухзначные цифры. Вот например, эйти сикс таймз севенти севен, *eighty six times seventy seven*. Маша прошептала, наклонясь к своему карману: «восемьдесят шесть умножить на семьдесят семь».

– Шесть тысяч шестьсот двадцать два! – проквокал странный голос из кармана.

– Что такое? Прекрати болтать, Роберта! – рассердилась мисс Тротвилл. – Повтори, что я только что сказала, пожалуйста! *Repeat what I just said!*

Маша повторила. И тут же, не задумываясь, выдала ответ. Вернее, просто перевела на английский то, что сказал лягушонок: *6622 - сикс фаузанд сикс хандрид туэнти ту. Six thousand six hundred twenty two.*

Мисс Тротвилл была изумлена.

– Ты что, сосчитала в уме?

– Нет, *ноу, но*, - ответила Маша смущенно. – Это случайность. Ит уоз эн аксидент. *It was an an accident.*

– Странно, – произнесла мисс Тротвилл неуверенно. – Правда, очень странно! *Very стрэндж индид! Very strange indeed!* Ну да ладно. Уэлл... Well. Окей. ОК. Перейдем к следующему примеру.

И принялась писать на доске: $84 \times 37 = \dots$

Учительница писала, а Маша тихонечко шептала: *восемьдесят четыре умножить на тридцать семь...*

– Три тысячи сто восемь, – раздался писк из кармана.

– Роберта! Ты опять болтаешь? Ты не даешь мне объяснить новый материал. И сама не слушаешь! – воскликнула мисс Тротвилл.

– Нет, я слушаю очень внимательно! – сказала Маша – и смотрю тоже. Вы объясняете, как умножать.

– Может быть, ты ответ и этого примера знаешь?

Маша молчала.

– Ну же! Не стесняйся. Говори.

– *Фри фаузанд уан хандред энд эйт, three thoudand one hundred and eight*, три тысячи сто восемь, – перевела Маша ответ лягушонка.

Мисс Тротвилл рассердилась, поджала губы, подошла к Машинной парте, протянула руку. – Так, пожалуйста, отдай мне калькулятор. *Гив ми ё кэлкулэйтор, плиз! Give me your calculator please!*

– Нет у меня калькулятора!

– Хорошо. Можно я посмотрю в твоей парте?

– Пожалуйста! *Ю а уэлкам! You are welcome!* – отвечала Маша.

Мисс Тротвилл заглянула в парту и ничего там не обнаружила.

– Если хотите, можете в моем портфеле тоже посмотреть, – любезно предложила Маша и открыла его так, чтобы учительница видела, что там пусто!

– А в кармане что? – спросила учительница.

– Моя лягушка, мой фрог! – правдиво отвечала Маша. И чуть приоткрыла карман, так, чтобы можно было видеть зеленую лягушачью голову.

– Да, твою лягушку знаменитую я видела, – сказала мисс Тротвилл. – Красивая игрушка. Но, может быть, не обязательно ее каждый день в школу носить? У нас же сегодня не *шоу-энд-телл. Not show-and-tell.* Не день, когда рассказывают и показывают...

Маше пришлось пообещать приносить игрушку в школу пореже. Сказано ясно: игрушку не носить. А про живого лягушонка никто ничего не сказал, подумала Маша. Но решила все же быть поосторожнее. Не изумлять больше мисс Тротвилл мгновенным решением трудных примеров. «Иначе мы так до контрольной с тобой не дотянем», объяснила она лягушонку.

На ближайшей контрольной Маша получила семнадцать из двадцати. *Севентин аут ов туэнти. Seventeen out of twenty.* Но дело было в том, что это была ее обычная оценка, она нередко даже и больше получала – и восемнадцать, а то и девятнадцать примеров правильно решала. И даже двадцать из двадцати время от времени ей удавалось получить – это значило ни одной ошибки в двадцати примерах. И это выходило без всякого лягушонка. Теперь же мистер Крокер быстренько решил за нее все примеры, но в одном случае Маша описалась: поставила девятку вместо четверки. А в другом ослышалась – лягушонок проквакал восемь, а ей показалось – семь. В третьем случае Маша пример с доски неправильно списала: *копид инкорректли. Copied incorrectly.* Вдобавок, мисс Тротвилл задергала Машу. Несколько раз делала ей замечания за

то, что она шепчется. Даже отсадила ее на дальнюю парту, в общем, расстроилась и Машу расстроила.

«Эксперимент удался. *Zi ekspirimint хэз бин саксесфул! The experiment has been successful!* Большое спасибо! *Фэнк ю вери мач! Thank you very much!*» – торжественно объявила Маша лягушонку. – Но мы его продолжать не будем».

...Мистер Крокер очень, очень сильно привязался к Маше. Можно сказать даже, что он ее полюбил. Может быть, даже слишком сильно! И от этого ему стало грустновато. Ведь это только в сказках лягушки превращаются в людей.

А впереди у него и у Маши было много самых невероятных приключений...

Журналист и писатель Андрей Остальский работал главным редактором Русской Службы Би-би-си в Лондоне (2001-2009), а общий его стаж на Би-би-си приближается к 16 годам.

*Андрей - автор нескольких научно-популярных и художественных книг. В 2012 году российское издательство «Амфора» выпустило документальный роман Остальского «Иностранец Ее Величества». Были хорошо встречены критикой и другие опубликованные в России романы - «Английские правила» (только что вышли в Великобритании по-английски под названием *English Rules*) и «Боги Багдада» (Московское издательство «Время»). «Амфора» первой издала и «Жену нелегала». (второе издание – «ЭКМО, 2013).*

В прошлом году «ЭКМО» начало публикацию серии прозы Андрея Остальского, открыв ее жесткой антиутопией «Синдром Л». Отрывок из романа впервые был опубликован нашим журналом в 2008 году под названием «Маневр Валсалвы» (Выпуск 3 (7). Андрей вынужден был тогда скрываться под псевдонимом Алекс Ост.

БОРИС ШАПИРО

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ЛИТЕРАТУРА...

Единственный источник правды о нас

О литературе могу только субъективно, из перспективы себя, в смещении прочитанного, пережитого и мечтаний. Но и мечты – тоже ведь важная сторона биографии. И так же, полагаю, у каждого из нас, с относительно небольшими расхождениями. А, кроме того, пока мы живы, мы о себе всего знать просто не можем.

О себе – это значит о каждом из нас. Никакого индивидуального, привязанного к отдельному телу Я, просто не существует. Все мы – иллюзия самих себя. И как же мы хорошо выглядим в собственных глазах! Хорошо-таки выглядим, даже когда мы ужасны. Многая часть нас самих вне нас. Мы «пересекаемся» друг с другом, и друг без друга не можем. Все вместе мы и есть Я. Вот оно, начало литературы – прочитанное, пережитое, вымечтанное Я.

Родился и родил четверых, а те родили девятерых. Учился и учил, чем больше учил, тем больше учился и почитал учителей моих и подражал им. Учить учился, и учиться. Родителей своих открыл и обнаружил в них учителей, и почитал в них родителей и учителей. А когда они умерли, оказалось, что не умерли, а перестали стариться.

Слово открыл для себя и родительское благословение, оказалось, и для других тоже. Поэтому называюсь Барух, благословлённый. Это имя было запрещено к называнию новорожденных в ста-

линской Москве 1944-го. Поэтому родители записали меня Борисом. И оказалось, что имя Борис значит борец. Мой отец – Израиль, значит богоборец. А я получился Борис Израилевич, Борец, сын Богоборца.

Стал учить себя быть. Оказалось, учить себя – значит бороться с собой. Бороться с собой, потому что не прав и живу неправильно. А как правильно, не знал и сейчас не знаю. Отец сказал, что правильным может быть только слово, и то не всякое. Стал искать правильное слово, не нашёл. Нашёл, однако, борьбу с собой. Если правильно борешься, то нет побеждённых, один победитель. А неправильно – один побеждённый.

Борясь с собой, нашёл Слово, но смысла не понял. Хотел понять Слово, и оказалось, что Слово – музыка, переходящая в поведение. Стал учиться себя вести, чтобы служить Слову. Оказалось, что служение Слову есть поэзия. А ещё оказалось, что поэзия – это религия. Марина Цветаева сказала как-то, что все поэты – Жиды. Это сильная метафора, но буквально я понимаю её так: все поэты приверженцы одной религии.

Поэтическая религия определяет особенную ось, направление в пространстве жизни, у жизни есть верх, и есть низ. Поэтическое Слово учит меня отличать верх от низа и жить вверх, стремиться жить вверх. Жизнь подаёт много примеров Слова. Мы все знаем эти примеры, но не всегда понимаем. Любовь – это вверх, а ненависть – всегда вниз. Ответственность – это вверх, а наплеватьство – вниз.

Сегодня Хеллочка спросила меня, что же такое литература? Я заваривал чай и в то же время готовил суп, мой знаменитый рыбный. Поэтому ответил: «Вон стоит энциклопедический словарь. Посмотри». На вопросе, что такое литература, сосредоточиться в этот момент не мог.

А Хелка говорит: «Зачем мне словарь? Я хочу знать, что такое литература из твоих уст безо всяких словарей». Пришлось отложить поварство. Мы сели пить чай, и я ответил так: «Литература – это коллективная деятельность, в которой вызревает правда о жизни, о нас самих, о нашем прошлом и об этой самой литературе, как она есть».

Собственно литература разделяется на две ветви, на поэзию и

прозу. Поэзия и проза сплетаются друг с другом, как ветви дерева, через которые мы смотрим на солнце. В конечном счёте, до нас доходит свет, преломлённый и рассеянный на ветвях и поэзии, и прозы.

В поэзии вызревает язык, на котором состоятся поэзия и проза. В прозе вызревает то, что естественно назвать правдой. Хотя проза и поэзия всегда перемешаны, так что не бывает чистой поэзии или чистой прозы, но их, тем не менее, можно отличить друг от друга, проследивая ветви назад, к стволу, к корням, к истокам бытия, к Слову, которое было вначале и которое было у Бога, и которое было Бог, когда ещё ничего не было, кроме Слова, которое было у Бога, и которое было Бог.

Правда о нас без литературы просто невозможна. А без поэзии вообще не на чём было бы говорить. Никакая история, никакая летопись, а сегодня радио, телевидение, Интернет, сказания народов или приказания Партии и Правительства не могут рассказать нам, кто мы такие на самом деле. Всё, что говорится о нас, живёт между Сциллой цензуры, пусть даже самоцензуры, и Харибдой заказчика этой самой правды.

Вот как провидец Гомер описывает оные чудища (Гомер, Одиссея XII, 85 – 110): «Скала Сциллы высоко поднимается острой вершиной до неба и вечно покрыта тёмными облаками и сумраком. Доступ к ней невозможен из-за гладкой поверхности и крутизны. Посредине скалы, на высоте, недостижимой даже для стрелы, зияет пещера, обращённая тёмным жерлом на запад. В этой пещере живёт страшная Сцилла. Без умолку лая (Σκύλλα – „лаяющая“), чудовище оглашает окрестности пронзительными визгом и воем. Спереди у Сциллы двенадцать лап, на косматых плечах поднимаются шесть змеообразных шей и на каждой шею торчит по голове. В пасти у этих голов сверкают чашеобразные, как у акулы, острые зубы в три ряда. Сидя в пещере и выступивши грудью наружу, она выслеживает добычу всеми головами, парит лапами по скале, ненасытная вылавливает дельфинов, тюленей и других морских животных. Когда какой-нибудь корабль проходит мимо пещеры Сциллы, разинув все пасти, разлом похищает с него по шесть человек».

Не правда ли, насколько точен портрет цензуры, мои дорогие дельфины и тюлени! Как хорошо описаны у Гомера газетный вой,

лай ненасытных голов, всегда знающих, как и что правильно и нужно, и шарканье лапами по неприступной для морских животных скале высокой администрации культуры. Харибда же у Гомера, напротив, не имеет личных черт: это гигантский водоворот, который три раза в день поглощает и столько же раз извергает море под второй из упомянутых, очевидно басманных, скал.

Когда Одиссей со своими спутниками проходил тесным проливом между Сциллой и Харибдой, последняя жадно поглощала море. Рассчитав, что смерть от Харибды угрожает неминуемо всем, тогда как Сцилла могла схватить своими лапами всего лишь шестерых зараз, Одиссей, с потерей шестерых товарищей, избегает гибели корабля и минует ужасный пролив. Откуда же Одиссей знал всё это? Наверное, был начитан.

Каждый поэт поднимает язык на одну ступеньку, иногда большей, иногда меньшей высоты. Каждый писатель приближает нас, человечество, к правде на одну ступень, иногда большей, иногда меньшей высоты.

В том же смысле, в каком ни один народ не может быть вне человечества сам по себе, в том же смысле не может быть отдельной, узко-национальной, ни с кем и ни с чем не связанной литературы. Более того, человечество существует постольку, поскольку существует всеобщая, наднациональная литература, сплетение языков и сплетение правд народов о самих себе и друг о друге.

Однако, помимо собственно литературы, есть ещё литературный рынок. Литературный рынок, по существу, не имеет к литературе никакого отношения так же, как дела земные не имеют, по утверждению естествоиспытателей, отношения к делам астрономическим. Скажем же прямо – делам небесным, разве что эти дела будут судимы там, наверху, где, по мнению пророков, кончается ось, ведущая нас снизу вверх, где мы, в конце концов, узнаем, правильно ли мы понимали при жизни, где верх, и где низ, и кто же мы такие. Но и это тоже только благодаря литературе.

Но рынок есть рынок. Он средство связи между нами. Он кормит издателей, критиков и некоторых из нас. Далее об этом лучше умолчу или напишу когда-нибудь отдельное эссе. Сейчас же речь идёт не о рынке, а о литературе.

В наш, казалось бы, просвещённый XXI век читателей становит-

ся всё меньше и меньше. Что бы это могло значить? А вот что: всё меньше и меньше людей имеют шанс узнать или решить, кто они такие. Всё меньше и меньше людей оказываются в состоянии защитить своё Я от манипуляций и злоупотреблений. Всё больше и больше людей становятся кандидатами в рабы или уже стали рабами моды, рекламы, денег, власти, навязанного образа жизни, кажущейся независимости, идеологии, безыдейности, или наоборот, рабами самых примитивных и несуразных идей и, даже, иллюзии, что они свободны. В любом случае, рабами, не способными сами решить, кто они такие, не имеющими свободы воли, не только убеждёнными в том, что свободы воли просто не может быть, но и в том, что свобода воли только осложнила бы жизнь, и что она никому не нужна.

Примерно полгода назад ко мне пришёл роскошно одетый молодой человек приятной наружности, лет тридцати, в расшитом золотом серебристо-сером, однобортном сюртуке, в туфлях со, скорее всего, действительно золотыми пряжками. Красиво уложенные волосы спадали мелкими волнами до плеч. Его оберегали два охранника, ещё двое дежурили внизу у подъезда.

В начале разговора он показал мне свои часы и спросил, понимаю ли я, сколько они стоят? Я сказал, что часы покупать не собираюсь, сколько бы они ни стоили. Он же ответил на это, что он их продавать тоже не собирается. Просто он хотел, чтобы я знал, что у него на руке часы стоимостью в два с половиной миллиона долларов. «Так вы за тем, собственно, и пришли, – спросил я, – чтобы я это знал?».

«Нет-нет», – ответил он, улыбнувшись, – мне рекомендовали вас как старого еврея, которому можно задать любой вопрос».

Я видел, что мой посетитель нервно перебирает левой рукой маленькие нефритовые чётки. «Разумеется, конфиденциально, – сказал он, – и не бесплатно». Он неплохо говорил по-русски, но с сильным восточным акцентом.

«Так в чём же ваш вопрос?»

Гость рассказал, что он молодой, но просвещённый представитель одного из самых богатых и могущественных кланов планеты. У него есть идея, как добиться справедливости на Земле и сделать человечество счастливым. Он в состоянии составить личное вой-

ско численностью не менее пятидесяти тысяч надёжных и лично ему преданных бойцов. Возникла пауза. Я молча ждал. Он тоже. Наступила неловкость.

Гость продолжил. Его идея состоит в том, чтобы научиться распознавать честных людей и отличать честных от нечестных. И всех нечестных просто перестрелять. Останутся только честные. С ними-то и можно будет построить справедливое законопослушное общество и осчастливить человечество.

Хелка вздохнула: «Так вот о чём ты говорил с этим типом! Только время тратил».

Я продолжил рассказ.

«Так в чём же ваш вопрос ко мне, Тэмучжин?» Он оживился: «Вопрос вот в чём, как отличать честных от нечестных?»

Будучи старым евреем, о котором говорят, что мне можно задать любой вопрос, я ответил, конечно, вопросом на вопрос: «А какая ваша самая любимая книга?» Гость замялся: «Наверное, Коран».

«Это замечательно», сказал я, «а вы знаете, кто такой Абу-Сина?» Молчание. «А Амр ибн Бахр, и кто аль-Мутанабби?» Молчание. «А Омар Хайям, Саади, Турды, Низами?» Молчание. «Кого же вы знаете из арабских или персидских поэтов? А из русских?» Молчание. И всё-таки выдал: «Пушкин». «Скажите, какую книгу, кроме Корана, вы прочитали за последние пять лет?» После паузы: «Извините, после окончания школы я не читал никаких книг».

Я сказал, что не могу ответить на его вопрос и прошу, чтобы он ушёл с миром и во имя Аллаха. Он спросил: «А деньги?» Я ответил: «Румынский офицер денег не берёт». Он, судя по всему, не понял и спросил: «Так вы румынский еврей?» – «Нет, это просто шутка».

Мы расстались. Он протянул мне руку, и я пожал её со словами: «Желаю вам читать побольше. Вы сами найдёте ответ на ваш вопрос». Он спросил ещё: «Сколько книг нужно для этого прочитать?» Но я уже закрыл за ним дверь.

По-еврейски слово «мазл» означает и звезда, и судьба. Мазлтов – пожелание счастья. Не потому ли мы так восхищённо смотрим на небо? Почему наше любопытство приковано к звёздам и планетам, к галактикам и звёздным скоплениям? Почему мы так самозабвен-

но охотимся за секретами макро- и микромира?

Уж не потому ли, что науки – математика, физика, химия – преподают нам правду об этих объектах? Планеты и звёзды, космос, молекулы и элементарные частицы – это очень простые объекты. Они не меняются сами по себе. Они не принимают о себе никаких решений.

Мы же делаем это ежесекундно. Никакие науки никогда не расскажут нам правду о нас, потому что мы не объекты. Мы постоянно меняемся, мы принимаем решения о себе, о нашем прошлом, о нашем настоящем, о том, что для нас верно и что ошибочно, о том, что справедливо и что ужасно, о том, кого мы любим и вообще кто мы такие, что возвышенно и что гадко, и куда нам жить. Отвечать ли нам самим за то, куда нам жить, или сваливать, по-возможности, всё это на других или на якобы неподвластные нам обстоятельства?

Мы принимаем решение о том, что человек человечен, о том, что мы стремимся к добру даже, когда творим зло! О, как часто мы подменяем добро пользой, а зрение слепотой! Как ловко прячем изнасилованную совесть в мешок неграмотности! А живём по логике: Если из А следует Б, и Б – приятно, то А верно! По этой логике живут черви, мухи, мыши, тигры, все звери, все нелюди и многие люди, которые исчисляют грамотность количеством прочитанных книг. Но тем, кто совсем не читает, кому литература просто не нужна, тем действительно проще с самими собой. У них все А, извергнутые их благонамеренной головой, всегда верны. Но и грамотные тоже не застрахованы от Харибды самообмана.

Нет, науки описывают лишь очень простые системы. А правда о нас вызревает медленно и только в литературном процессе, как мёд в улье или в муравейнике. Мы передаём друг другу мотивы, мелодии, сюжеты, судьбы, мы перевариваем их в наших душах, в желудках наших душ, от писателей к читателям и обратно. Мы все, всё человечество – мы все писатели, читатели и поэты, и мы не можем друг без друга, потому что мы едины, как Мир, и как Бог. Литература – это процесс становления и самопознания в одинаковой степени человечества и человека.

Любуся моя, это и есть литература, откуда мы нашу золотую свадьбу через два дня отпразднуем, и откуда дети происходят, и внуки. Я тебя словом оплодотворил, а ты меня словом приняла. И

дети тоже из слова появились. Кто читать умеет, тот знает, из какого...

Что знает буква о значенье слова? Неужто мы с тобой только буквы? А слово – это уже литература. Я думаю, так это и есть. Вся наша жизнь – литература или, как минимум её черновик, заметил Борис Хазанов, он же Геня Файбусович. Наверное, всё-таки не черновик, – чистовик, а то можно было бы хоть что-нибудь исправить или переписать.

Хеллочка говорит: «Пей же, наконец, а то чай совсем уже остыл». Вот, собственно, что я мог сказать.

***Борис Шапиро** родился в Москве, окончил физический факультет Московского Университета. В Германии с 1975 г. Сейчас живет в Берлине.*

В 1963-1965 г.г. организовал на физфаке Университета вместе с Владимиром Герциком и вел поэтическое объединение „Кленовый лист“, устроившее два университетских поэтических фестиваля и создавшее „Поэтический театр“.

В 1981-1986 г.г. организовал и вел „Регенбургские поэтические чтения“ (Германия, Регенбург). За семь лет было проведено 62 литературных представления с участием ведущих немецких поэтов и переводчиков русской поэзии на немецкий язык.

С 1987 г. и по сегодня проводил в Германии, Литве, Израиле и России 19 международных конференций, коллоквиумов и семинаров, посвящённых русской литературе и искусству поэтического перевода с русского и на русский.

Член Международного ПЕН-клуба, Союза литераторов России, Союзов писателей Москвы и Санкт-Петербурга, президент благотворительного общества WTK (Wissenschaft-Technologie-Kultur e. V. 1992 – 2012 г.г.).

Полтора десятка книг на русском и немецком языках, более 100 публикаций в периодике: стихи, поэмы, переводы стихов на русский и на немецкий, эссе о поэзии, повести, рецензии.

ЛИЛИЯ СОКОЛОВА

ВСПОМИНАЯ БУЛАТА ОКУДЖАВУ

*9 мая этого года Булату Шалвовичу Окуджаву исполнится 90 лет. Такая вот изящная игра девяток. Именно **исполнится** – в настоящем, а не в прошедшем времени. Он по-прежнему с нами, с теми, кто воспитывался и мужал на его стихах, песнях, его прозе, без чего невозможно представить ту ушедшую от нас эпоху. Он с теми, кто в силу более молодого возраста воспринял его творчество восхищенно, но несколько иначе, чем мы, кому в пору творческого созревания и расцвета Окуджавы было не на много меньше лет, чем ему самому.*

Вот уже не один год друзья и почитатели выдающегося таланта выпускают альманахи, посвященные жизни и творчеству Булата Шалвовича. Вот что, в частности, говорится в предисловии к девятому (опять магия цифры...) выпуску сборников.

*“Наши книги – это не последовательное изложение биографии и описание художественного мира писателя, они – собрание подробностей и деталей, мыслей и наблюдений, находок и открытий. И адресован наш альманах в первую очередь **заинтересованным** читателям и исследователям – историкам литературы, биографам, литературоведам, филологам, которые вместе с нами хотят глубже изучить все, что относится к такому понятию, как “мир Окуджавы”.*

В связи с приближающимся юбилеем писателя мы публикуем воспоминания Лилии Соколовой о своих американских встречах с Окуджавой.

Начну несколько издалека. В 1970-е годы я работала преподавателем в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), куда по приглашению Славянского отделения приехала Белла

Ахмадулина. Для этого потребовалось множество усилий, и руководство отделения решило, что есть опасность потерять финансирование на гостевых лекторов из России, поскольку приглашенных могли не выпустить из страны.

Елена Вайль, глава Русского отделения Калифорнийского университета в Ирвайне (Irvine), сообщила, что у нее таких проблем не будет, и попросила Беллу Ахмадулину предложить кандидата на следующий, 1979-й, год. Та назвала Булата Окуджаву.

Предполагалось, что в Ирвайне Окуджава проведет курс лекций по русской литературе. На объявление о его приезде откликнулась русскоязычная Америка нескольких волн эмиграции. Большинство прибывших из разных городов попросили Окуджаву рассказать о своей жизни – лучшего знакомства с русской литературой ни один учебник не даст. Ведь Булат находился в гуще литературной жизни, дружил и общался со многими поэтами и писателями России. Да и биография его типична для биографий советских писателей.

ДОМА

Три раза в неделю я и мой муж Саша Соколов (автор «Школы для дураков» и др.) ездили в Ирвайн на лекции. Там мы быстро сдружились с Булатом и привозили его в Лос-Анджелес (час езды), где в нашем доме постоянно собирались русские компании.

– Наконец-то можно сесть за стол по-человечески, – любил повторять он.

Булат был всегда немногословен и сдержан в разговорах. Очень скупно рассказывал о старшем сыне Игоре: он болен, у него много проблем. От вопросов быстро ушел, давая понять, что эта тема вне беседы.

Но о литературе говорил охотно. Когда не было застолий, очень длинные беседы происходили с моим мужем. Булат любопытствовал, как Саша пришел к его необычному стилю повествования. В такое время я старалась оставить их вдвоем.

Булат рассказывал, как заинтересовался прозой. Он всегда хотел знать, как сложилась судьба потомков знаменитых людей XIX века. В поисках интересных тем начал читать энциклопедию, выискивая биографии титулованных лиц, чьи имена в советский период перестали существовать. Многие стали основой для романа «Бедный Авросимов». Я вспомнила, что в университете у меня было несколько учеников с известными фамилиями – Воронцов, Дашкова, Мусина-Пушкина. Булат попросил подробнее расска-

зять, какое впечатление они произвели на меня, интересовались ли своими предками.

И вот мой рассказ. Воронцов был аристократического вида розовощекий молодой человек, очень гордился тем, что его пра-пра-прабабушка была музой Пушкина.

– Потомственный аристократизм передается из поколения в поколение, – заметил Булат.

– Не всегда, – отметила я. – К примеру, Дашкова ненавидела русский язык, своих предков и сетовала на то, что мать заставила ее учить этот ненавистный язык. В сочинении на свободную тему я однажды попросила ее написать о своей семье. «Ну их», – был ее ответ.

Мусина-Пушкина, когда мы с ней познакомились, была женщиной лет пятидесяти. На мой вопрос, имели ли ее родственники отношение к «Слову о полку Игореве», она расплакалась:

– В Америке это никого не интересует.

Будучи замужем за американцем много лет, она отказалась брать фамилию мужа, что в те годы в Америке было не принято, и всю жизнь боготворила своего пра-прадеда.

Булат внимательно слушал, потом отметил, что рассказанное произвело на него большое впечатление, и он попробует учесть эту информацию в будущей работе над прозой.

КНИГИ

Булат подписал нам свои книги: «Два романа» («Бедный Авросимов» и «Фотограф Жора»), изданную в 1970 г. «Посевом», и «Путешествие дилетантов», вышедшую в Москве буквально перед его отъездом в Америку. Он очень гордился своей прозой. А стихи? – удивились мы. Булат сказал, что стихи – пройденный этап. Он настолько набил себе руку на стихосложении, что этот жанр ему больше не интересен: пять минут – и любое четверостишие готово. Хочется попробовать себя в другом жанре.

МОНТЕРЕЙ

С Булатом мы совершили поездку в Монтерей (Monterey), он находится в центральной части Калифорнии. Этот город выбрали по ряду причин.

На лекциях Булат познакомился с Леонидом Хотиным, занимавшимся интересными социологическими исследованиями в содружестве с Калифорнийским университетом. Он жил в Монтерее. Там также была военная школа русского языка, подготавливаю-

щая специалистов по подслушиванию советских военных секретных и не столь секретных разговоров по радиосвязи.

– Начинают с русского мата, – с улыбкой повторял Булат заявление социолога.

Булата заинтриговала идея посещения этой школы, новый знакомый обещал получить разрешение на визит. Мы встретились в его доме, но о военной школе ничего не помню – возможно, Булат был в ней без меня (допуск туда строго ограничен). Смутно вспоминаю, что из Монтерей мы с Сашей возвращались без Булата. Значит, он был в гостях у Хотиных. Поэтому я ничего не знаю о его посещении военной школы.

И, конечно, город сам по себе очень интересный: океан, красивый пляж, дельфины плавают близко от берега в надежде получить рыбу от посетителей, много исторических мест и зданий со времен, когда Монтерей был столицей Калифорнии (в испано-мексиканские времена), и дорога туда идет по живописной Первой дороге (Highway One).

Булат попросил разрешения вести машину «Понтиак» с автоматической коробкой передач, такое ему было незнакомо.

Потом, когда я приехала в Москву, несколько людей сообщили мне, что очень хорошо знакомы с моей машиной: на просьбы поделиться впечатлениями о поездке в Америку Булат первым делом с гордостью показывал фото себя за рулем.

1991-й ГОД

Во время последующих поездок Булата с концертами по Америке я виделась с ним в доме Александра Половца, главного редактора газеты «Панорама». Как можно предположить, там всегда было много народа, как и в самой редакции.

Хотя профессиональных журналистов тогда в газете не было, в «Панораме» работала небольшая, но слаженная и преданная своему делу группа людей. Кое-кто даже полагал, что мы все родственники. Мы часто встречались у кого-нибудь дома, вместе ездили за город, на пикники.

Думаю, Булат почувствовал, что между всеми нами теплые отношения, и любил приходить к нам в редакцию. Он знакомился с процессом подготовки выпусков к печати, беседовал с людьми, занятыми этим процессом.

На днях мы с одной из бывших коллег по «Панораме», Людмилой Михайловой, вспоминали о том, как интересно и непринужденно мы разговаривали с Булатом на разные темы. Люда

много лет работала на студии документальных фильмов в Киеве, и в этой связи Булат сказал, что в ряде фильмов использовались его давно написанные песни, но сегодня никто не заказывает новых песен, а это было бы очень кстати. Она высказала мысль, что, возможно, никому в голову не приходит, что Булат с удовольствием взялся бы за эту работу. Почему бы не поехать на студию предложить свои услуги?

– Нет, – ответил он. – Если им нужно, свяжутся со мной сами, а если нет – Бог с ними».

Хотя время пребывания Булата в Лос-Анджелесе было ограничено, он часто беседовал с посетителями «Панорамы», для которых наши двери всегда были открыты. Люди приходили взять несколько номеров газеты, сделать подписку или купить книги в нашем магазинчике. Булата интересовали успехи наших эмигрантов, и это было дополнительным стимулом для его посещения редакции. Недаром он часто говорил:

– «Панорама» – мой второй дом.

Все мы обязательно ходили на его концерты. Во время одной из поездок аккомпаниатором Окуджавы был его сын Булат, который просил звать его Антоном. Булат сожалел, что сын не любит гастроли, но лучшего пианиста найти не получается. Антон подтвердил это во время разговора, когда мы прогуливались по Голливудскому бульвару (в тот раз семейство остановилось здесь в знаменитом историческом отеле «Рузвельт»). У него были большие планы в музыкальной сфере: он работал с группой, сочинял музыку для нее и по заказу. К тому, же в Германии у него была девушка, и он предпочел бы быть с ней, а не ездить с отцом.

...Этот концерт Окуджавы незадолго до операции запомнился его почитателям особенно теплой атмосферой в зале. Как всегда во время выступлений Булата, актовый зал одной из лос-анджелесских школ для старшекласников (Highland High School) был заполнен до отказа. И вопреки опасениям Булата, что в связи с неважным самочувствием его голос будет звучать слабо, концерт прошел с невероятным успехом. Люди ловили каждое слово этого большого поэта, тонкого лирика, с которым связана любовь миллионов к бардовской песне.

ОПЕРАЦИЯ

В последний раз Булат и его жена Ольга приехали в Лос-Анджелес перед предстоящей ему операцией на сердце. Как известно, это очень дорогая операция, и А. Половец обратился к русской

общине за помощью. Все – от бизнесменов до пенсионеров – откликнулись и быстро собрали крупную сумму. Врачом Булата был кардиолог из нашей общины доктор Юрий Бузи, который в свое время был личным врачом знаменитой Люсилл Болл, многие годы снимавшейся в сериале «Я люблю Люси» (его до сих пор можно увидеть по телевизору), ее считают женским эквивалентом Чарли Чаплина.

Я часто встречалась с Булатом и Ольгой в послеоперационный период. Они жили в квартире, предоставленной нашим эмигрантом, она находилась в 5 минутах езды от моего дома. Согласно врачу выздоровление могло сопровождаться приступами депрессии. В такие периоды Ольга звонила и приглашала меня на чай. Мы разговаривали на отвлекающие от плохих мыслей темы, ходили на прогулки и несколько раз посещали бар близлежащего ресторана, где в репертуаре музыкантов была легкая классическая музыка. Нам разрешали сидеть в баре, не покупая ничего, а это, безусловно, редкое исключение. Своей мягкой манерой общения Булат мог очаровать буквально всех, кого встречал. Кстати, я ни разу не слышала, чтобы он повышал голос.

ПЕРЕДЕЛКИНО

И, наконец, я видела Булата в Переделкино, где остановилась в его доме на пару дней.

Полагаю, что был 1994-й год. К сожалению, визы тогда не ставили в паспорте, а на отдельной бумаге, часть ее забирали при въезде, остаток – при выезде. Я просмотрела таможенные отметки в моем паспорте за несколько лет – в 1992-м и 1993-м я была в других странах, а в 1994 г. есть штамп аэропорта Шереметьево от 30 июля и при въезде в США – штамп от 29 августа. Следующая моя поездка в Россию была уже в 1998 г. Более того, помню, что Солженицын выступал по телевидению сразу по приезду в Россию, а приехал он в мае 1994 г. Получается, что мы встретились в 1994 г., более точно не могу подтвердить.

В Москве я остановилась у двоюродного брата. По предварительному приглашению позвонила Булату и Ольге. Дома была только Ольга, она попросила приехать как можно быстрее, поскольку Булат был в Переделкине и ждал ее. После долгих поисков то ли Протопопова переулка, то ли Безбожного (оказалось, что тогда название решили не менять) я наконец приехала по назначению. Ольга предложила тут же поехать в Переделкино.

Булат работал в своей комнате, освободился к вечеру. Меня

поразила бедность, в которой жил великий поэт: очень скромная мебель, на ужин подавалась картошка с селедкой. Поужинав, включили телевизор, т.к. в тот вечер должен был выступать только что приехавший в Москву Солженицын. Он давал советы россиянам, как «обустроить» Россию.

Булат комментировал речь А.И. подчас очень резкими словами, делал едкие замечания, когда был не согласен с заявлениями говорящего. Каждую досадную фразу сопровождал высказываниями типа «Да ну!», «Неужели?», «А мы этого не знали!». В конце сказал:

– Зачем люди, будучи в отрыве от жизни страны многие годы, пытаются учить нас чему-то?

Но пояснять свое заявление не хотел, я на этом и не настаивала, поскольку уже знала, что Булат немногословен в любой ситуации, не имеющей отношения к литературе. И все же более красноречивой реакции трудно себе представить.

ПИСЬМО

Речь идет об ответе Булата Окуджавы на мое письмо, детали которого память не сохранила, и не помню, было ли всего одно. Но, кажется, оно вызвало в памяти события, которые могли заставить меня писать Булату. Это были отголоски лекций в Ирвайне 1979 года.

На одной из конференций славистов, куда «Панорама» привозила информацию о газете и экземпляры самой газеты, я беседовала с одной женщиной из Канады (дочь эмигрантов первой волны), которая вдруг спросила, знала ли я о Клубе Окуджавы в провинции Альберта. К сожалению, он уже больше не существует. Она рассказала следующее. Несколько лет назад ее знакомая была в Калифорнии, в маленьком городке неподалеку от Лос-Анджелеса, где встретила с Булатом Окуджавой и взяла у него интервью (полагаю, что у нее была неточная информация – никаких интервью не было). Приехав домой, в свой маленький городок, она познакомилась с друзьями со знаменитым русским поэтом. Сначала большинство равнодушно отнеслось к ее сообщениям («Еще один поэт!»), но постепенно почти все стали ревностными поклонниками Булата Окуджавы, купили сборники его стихов и заучивали их наизусть.

– А песни? – спросила я, – песни им понравились?

Однако о песнях эта женщина ничего не знала. Естественно, я не могла не сообщить об этой встрече Булату, хотя не могу настаивать, что именно это стало причиной для данного письма.

Привожу ответ Окуджавы.

“Дорогая Лиля!

Прости за долгое молчание. Спасибо тебе за письмо. Мы были ему очень рады. О жизни нашей тебе, наверно, известно. Живем. Я работаю потихонечку. Все у нас прилично. Недавно ездили с сыном с концертами в Мюнхен и Марбург (февраль 1994-го. - Л. С.). Выступить уже противно, но от валюты в нынешние времена отказываться нельзя.

В октябре предполагаются большие “гастроли” по Америке. Если все состоится – наверное, увидимся.

Надеюсь, у “Панорамы” все хорошо. Обними всех. Я вспоминаю редакцию, как дом, и мне тепло.

В Переделкине уже три недели не работают телефоны: все прогнило. Перспективы туманны. Кругом бардак.

Дорогой Саша! (А. Половец. – Л.С.)

Если мы приедем, не забудь приготовить уху.

Обнимаю всех.

Булат”

Лилия Соколова выехала из СССР в декабре 1962 г., выйдя замуж за американца, живущего в Лос-Анджелесе. Сначала училась в аспирантуре UCLA (University of California, Los Angeles), потом стала там преподавать.

Познакомившись с Александром Половцем на одной из вечеринок в честь Булата, в 1980 г. стала работать в только что созданной им газете «Панорама». Сначала была помощницей машинистки в ночную смену (набор делали на машинке IBM), постепенно круг ее обязанностей расширялся, и довольно быстро стала managing editor, а потом генеральным менеджером. Всего в «Панораме» Соколова проработала 25 лет, после чего вышла на пенсию.

МАРК ВЕЙЦМАН

ТО, ЧТО БЫЛО НАМ ДОВЕРЕНО

1

У собора златоглавого –
Помнишь улицу бульжную,
Участкового плюгавого,
Письмоносицу сквальжную,
Дух крамолы и брожения,
Развенчание Властителя,
Плоскодоночки скольжение
Мимо хмурого Крестителя,
Что, большой до неприличия,
Доминировал над водами,
Акцентируя различия
Между "братскими" народами, –
Где от мертвенной сусальности
И дурной мистификации
Лишь живые упасали нас
Осокори и акации
Да витальность вальсов Штрауса,
Да уверенная статика
Возрождаемых из хаоса
Бессарабки и Крещатика?

2

Помнишь "Ганзовку- восточную" –
В просторечии – Нахаловка –
И лужайку перед почтою
Под названием Махаловка,
Где, на водку и соления
Разменяв свои динарии,

Меж собой до посинения
Разбирались пролетарии
И висело над бараками
Антрацитовое марево,
И стекало с горки шлаковой
Огнедышащее варево,
И, Большой заре подобная,
Небо плавил Дочерняя,
И разумное и доброе
Школа сеяла вечерняя,
Простодушно наставляючи
Зажигать и не гасить свечу,
А за вечным направляючи
К Николаю Алексеичу?

3

До и после затопления –
Помнишь Мытницу черкасскую
И ментальность населения
С иждивенческой окраскою,
Изобилие телесное
И садово-огородное,
Подчиненье бессловесное,
Одобренье всенародное,
Плутократию с приметами
Энтропии и гниения,
Мать-Провинцию, воспетую
Кистью Найдена Евгения,
Ту, что – правильно замечено –
У поэта есть у каждого;
Запах пота человеческого,
Всплески мата трехэтажного,
Сопряжение плутония
С отъезжанческой модою –
Юдофобскую симфонию
С ностальгической кодою?

4

Со средой библейской связывать
Современные понятия –
Не истории обязанность,
А живого восприятия.

Цикламены с анемонами,
Что красны до обалдения, -
Не по ведомству Гармонии –
Это Эпоса владения.

5

С разной степенью бестактности
Завершаются метания
То на станции Астапово,
То близ города Нетания.

И досадуем, старея, мы
В Тель-Авиве или Пуцино,
Что Пространства нам и Времени
Недостаточно отпущено.

Впрочем, может, и намеренно, –
Чтоб растратить не успели мы
То, что было нам доверено
С неопознанными целями.

И, на сладенькое падкие,
Погрязая в изобилии,
За корректности нехваткою
Ничего не разлюбили мы.

Ни по щучьему велению,
Ни по личному хотению
Приохотить, к сожалению,
Не сумел своих детей
Ни к осмысленному чтению,
Ни к расчисленному рвению,
Ни к умелому плетению
Прочных матовых сетей.
И визжит струна фальшивая,
И дрожит овца паршивая,
И готов к употреблению
Редковатой шерсти клок.

Шьют платочки с асфоделями
Дездемоны и корделии,
И томятся от безделия
Пушкин, Лермонтов и Блок.

КОСМОС

Астронавт взглянул на Солнце,
Вздрогнул и вспотел:
Перед ним кружились сонмы
Обнажённых тел,

Вниз влеклись, вздымались круто,
Мчались по кривой,
Но не гибли почему-то
В бездне огневой.

Ни прибегнуть к алкоголю,
Ни в безумье впасть
Астронавту не позволю,
Потому что – Власть.

Заявлю, что плазмы выброс –
Просто некий тест.
Сообщу, что Бог не выдаст,
А свинья и съест,

И что мы пребудем весте
Много лет и зим.
И что лично он бессмертен
И неуязвим.

По свидетельству учёных,
Обмишурился Кручёных
Со своими Дыр Бул Щыл.
Этот спился, тот заврался,
Велимир перестарался,
Казимир переборщил.

И как следствие – расплата:
За утрату утрата,
Бездна чёрного квадрата,
Мир, разъятый на куски,
Брат войной идёт на брата...
Доигрались, мудаки?!

Доверчивому парню
Неведомо пока
И как она коварна,
И как она глупа.

Ни слишком узкий лобик,
Ни слишком бойкий взгляд
Ему проблем особых
Покуда не сулят.

Но коль пред ним сегодня
Возникли б невзначай
Её прабабка-сводня
И прадед-полицай,
И дедов брат – каратель,
И шурин-жидоед,
Пришлось бы нам, читатель,
Закрыться на обед.

А так – всего лишь с глупым,
Но радостным лицом
Клиент несётся в "Супер"
За свадебным кольцом.

РОМАНС

Ах, простите, мадам,
Если вас я обидел нечаянно,
Не сочтите, что страсть
Не имеет известных границ.
Просто я захотел
Заблокировать ваше отчаянье
И слезинку смахнуть
С подмалёванных ваших ресниц.
Вон как бешеный бриз
Не желает считаться с препонами!
Он-то мне не чета,
Он – подобье Роже Гароди.
Так что вы мой порыв,
Вероятно, неправильно поняли:
Я лишь крошку убрать
Вознамерился с вашей груди.

Чья-то личная жизнь –
Это то, что меня не касается.

Но разумную мысль
Не замедлю поднять на ура.
Я отнюдь не шучу:
Вы действительно просто красавица.
Я вас очень люблю.
Только мне, извините, пора!

Мужик, одетый бабой, неприятен
Не потому, что ноги волосаты,
Не оттого, что ржут по-жеребьячи
Его дурацких шуток адресаты
И наглостью попахивает дерзость,
С которой он приличья нарушает,
А потому, что собственная мерзость
Его самооценку повышает.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Любовь не называется "привязанность",
Коварство не вменяется в обязанность,
Азарт не переходит в безразличие,
Ничтожество не сходит за величие,
Заветные мечты не забываются,
Неправедные планы не сбываются...
За то, чтоб не увял цветочек аленький,
Давай махнём, Чудовище, по маленькой!

Марк Вейцман - поэт, прозаик, эссеист. В 1966 году его стихотворная подборка, подвёрстанная к "Бабьему яру" Анатолия Кузнецова, была опубликована в журнале "Юность". С этого момента он и начинает отсчёт своих литературных занятий. Родился и вырос в Киеве. Окончил физико-математический факультет Черкасского пединститута и Литинститут им.Горького. Преподавал физику. Автор 13 стихотворных книг (в том числе для детей и подростков), увидевших свет в Москве, Киеве и Иерусалиме, и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат нескольких литературных премий.

Член Федерации писателей Израиля, куда репатриировался в 1996 году, и Международного ПЕН-центра.

Недавняя книга Марка Вейцмана "Следы пребывания" удостоена премии русскоязычного Союза писателей Израиля им. Давида Самойлова как лучшая поэтическая книга года (2012-го) на русском языке.

ВЛАДИМИР МАТЛИН (МАРТИН)

КАК Я РАБОТАЛ НА “ГОЛОСЕ АМЕРИКИ”

Субъективные воспоминания

Этот день, 10 мая 1975 года, не забуду никогда. Такого полного, пьянящего счастья я не испытывал ни до того, ни после. Я летел на самолёте из Лос-Анджелеса в Вашингтон, и мне казалось, что лечу я по небу без всякого самолёта, и ангелы своими шелковистыми крыльями похлопывают меня по спине - давай, парень, жми!... На следующий день, в девять утра, я должен был явиться в кабинет главы советского отделения “Голоса Америки“, куда я был принят в штат на постоянную работу.

Ощущение нереальности всего происходящего со мной будет хотя бы отчасти понятно, если я скажу, что всего лишь год и десять месяцев до этого дня я сидел у себя дома в Москве, на Черкизовской улице, и слушал... нет, пытался слушать этот самый “Голос“. Боже, что я только не выделывал со своей “спидолой“: прикладывал к водопроводной трубе, высовывал в форточку, ложился с ней на пол и залезал на шкаф... Вотще! Проклятое глушение было почти непробиваемо. Почти. Какие-то крохи информации всё же доходили, если проявить настойчивость... В общем, сам факт моего отъезда в ту эпоху уже говорит о том, что в политическом отношении советским телёнком я не был, кое-что знал и про Америку, и про советскую реальную жизнь. Спасибо “Голосу“ и многотерпеливой “спидоле“...

И вот с завтрашнего дня я сам становлюсь вроде составной части этого голоса... Было отчего взлететь на небо.

Я пришёл на радиостанцию в то время, когда там работали титаны старшего поколения, зачинатели русской службы. Я знал их имена и узнавал их голоса по радио, а теперь знакомился с ними лично: Константин Григорович-Барский, Виктор Французов, Кирилл Аллен, Людмила Чернова, Алексей Рети... Они встретили нас благожелательно, с интересом расспрашивали о жизни в Советском Союзе. Я пишу “нас”, поскольку одновременно со мной на “Голос” были приняты и другие работники из числа новейших эмигрантов “третьей волны”, как нас стали обозначать. (Первая эмиграционная волна относится к годам революции и гражданской войны, вторая – ко времени Второй мировой войны и сразу после нее). Специально для этого Конгресс США сделал исключение из правила, в силу которого на государственную службу разрешалось принимать только американских граждан. Первыми из “третьей волны” были приняты Люсьен Фикс, Борис Гольдберг, Лев Балк. Потом я, годом позже - моя жена Аня, выступавшая под своей девичьей фамилией Друкер. Еще позже пришёл музыковед и знаток бардовской поэзии Володя Фрумкин, мой ближайший друг по сей день.

Вообще говоря, кадровый состав русской службы был в то время весьма пестрым. Немало было тех, кто родился уже за границей, русский язык выучил дома, с помощью родителей. Среди них попадались потомки аристократических родов. У нас в отделе, к примеру, работал князь Олег Волконский - симпатичный молодой человек, как-то до смешного похожий на аристократа из анекдотов про Дениса Давыдова. Мы соседствовали с ним первые месяцы моей службы на “Голосе”, пока не приехала моя семья, и частенько выпивали после работы. У него семьи не было, тогда он был принципиальным холостяком, но в сорок лет женился на 19-летней девице.

Он жил в Америке давно, но принимать американское гражданство не хотел, всю жизнь оставался подданным Её Величества Британской королевы. По простой причине: американский закон, в отличие от британского, не признаёт титулов, а Олег гордился своим княжеским происхождением.

Как-то коротая вечер за бутылкой, мы заговорили о гражданской войне в России. Он сказал, что в 1919 году его дед (или брат деда) князь Волконский оборонял Киев от красных. И тут я вспомнил, что в одной из красных дивизий, наступавших на Киев, комиссаром был Аркадий Ильин, двоюродный брат моего отца. Собственно говоря, Ильин - это его партийный псевдоним, настоя-

щее имя Арон Матлин. Мы с Олегом горестно вздохнули и выпили за упокой души обоих предков - мы оба понимали, что в той войне никто не был прав или виноват, а злом была сама война...

И всё же появление на радиостанции новых эмигрантов не прошло совсем уж безоблачно и гладко. Нашлась группа людей, у которых наш приход вызвал крайне неодобрительную реакцию. Это были молодые американцы, изучавшие русский язык в американских университетах и связывавшие своё будущее с карьерой на "Голосе". Они моментально увидели, что не могут конкурировать с нами в знании языка и российской жизни. В результате появилось коллективное письмо в дирекцию радиостанции, в котором говорилось, что администрация допустила ошибку, приняв на работу "этих людей". Кто знает, что это за люди и с какой целью они здесь появились, говорилось в письме. Может, это сплошь КГБэшники, засланные к нам, чтобы разрушить службу. Да и английского языка они как следует не знают.

Английский мы действительно знали слабо, но ведь программы составлялись и ввелись на русском языке, а тут уж, извините...

Об этом незначительном эпизоде я упомянул, в основном, для того, чтобы отметить великодушие и благородство, с которыми реагировало на "молодежное восстание" большинство наших коллег. Многие сотрудники, которым предлагали подписать письмо, наотрез отказались, другие подходили к нам, чтобы выразить свою солидарность. Тогдашний старший редактор русской службы Константин Петрович Григорович-Барский собрал нас, новых сотрудников, у себя в кабинете, ознакомил с содержанием письма и заверил, что администрация "Голоса" решительно осуждает как письмо, так и его авторов. Нам полностью доверяют и ожидают от нас хорошей работы. Дирекция сделает всё возможное... и т.д.

Справедливый и доброжелательный, Константин Григорович-Барский (по первым буквам - КГБ, он любил эту шутку) пользовался всеобщим уважением. В общении с сотрудниками он был прост и демократичен. Как-то он сказал мне: "Да что вы всё по отчеству? Меня друзья зовут Кот-Барский, я привык так". В совершенный восторг привёл его тот факт, что Аня, моя жена, родилась в украинском городке Баре (Винницкая область). "Значит, земляки?". Да, в каком-то смысле земляки, только дворянский род Григоровичей-Барских когда-то владел этим городом, тогда как Анины предки были там портными... Впрочем, это не мешало нашим самым сердечным отношениям.

Если говорить о знаменитых сотрудниках “Голоса Америки“, то, конечно, первым нужно назвать человека, чей голос во многих странах мира стал символом Америки - Уиллиса Коновера, автора и продюсера джазовых программ на протяжении сорока лет. Особенно популярен он был среди молодежи в Советском Союзе и Восточной Европе. Помню, в Москве ему подражали все, кто пытался говорить по-английски, особенно студенты, изучавшие иностранные языки. В шутку говорили, что если бы в России происходили свободные выборы, президентом выбрали Коновера. Он был один из очень немногих журналистов “Голоса“, известных и в Америке: он выступал продюсером и ведущим ряда джазовых фестивалей, в частности, Ньюпортского. Едва ли не все знаменитые музыканты джаза были его друзьями.

Повидать его не составляло труда: где “парти“, там Уиллис. Высокий, в модном пиджаке, он на различных “парти“ обычно скромно стоял в сторонке, с неизменной улыбкой на лице и бутылкой пива в руке. Вокруг него толпились люди. Он охотно вступал в беседу, шутил, смеялся. Помню, первый раз я подошел к нему и протянул программку джазового фестиваля, состоявшегося в клубе Московского института инженеров транспорта в 1967 году. На программке красовался его автограф. Он обрадовался несказанно. Не буду утверждать, что он меня узнал - автограф у него брали тогда сотни людей - но с энтузиазмом заговорил со мной о московских джазменах - Пономарёве, Сермакашеве, Лукьянове, Гараяне, Козлове, Чугунове, Высоцком, Брилле и других - некоторых я знал лично. Коновера радовало, что работая в столь трудных условиях, советские джазовые музыканты держат высокий уровень искусства.

С первой же встречи у нас с Уиллисом установились самые добрые отношения, чему немало способствовало и то, что на протяжении многих лет его радиоинженером работал брат моей жены Ефим Друкер, сам большой любитель и знаток джаза.

Погубило Коновера курение - из-за него начался рак горла, который и свёл его в могилу после тяжелой болезни в возрасте 75 лет. За три года до своей кончины Уллис женился на молодой эмигрантке-китайке, которая влюбилась в него заочно, по радио, когда еще жила в Китае. Программы Коновера, как видно, были популярны не только в Восточной Европе.

Меня “приписали“ к отделу культуры. Это значило, что мне поручалась какая-то постоянная тематическая программа, но и

новости я должен был писать и читать в эфир, и интервьюировать людей, и передачи вести, и скрипты озвучивать, и сообщения с мест передавать - в общем, весь круг обязанностей радиожурналиста. Что касается тематической программы, то Л.С. Оболенская, руководитель отдела, предложила мне заняться “Обзором религиозной жизни”.

Это была довольно странная программа. Начать с того, что она должна была уделять внимание всем существующим в Америке религиям. Понятно, что преобладали материалы самого общего значения: какие у кого праздники, какие события в той или иной церкви, как складывается бюджет религиозных школ и т.п. Сути религии, основ вероучения программа не касалась. Да и откуда мог взяться такой универсал, чтобы компетентно говорить сегодня о триединстве Бога, завтра о кошерной пище, а послезавтра о двенадцатом сокрытом имаме?

А я знал, как там, за железным занавесом, люди стремятся к вере. Сам я вырос в абсолютно атеистическом окружении, и когда во мне пробудился интерес, вернее, потребность в религии, найти надежные источники информации было очень непросто. Помню, с каким трудом я достал Библию. И вот теперь я оказался в состоянии помочь людям, ищущим Бога. Я ощущал это как огромную ответственность.

На самом деле, положение было весьма пикантным. Допустим, к работе над еврейской частью программы я всё же был хоть в минимальной степени подготовлен - все полтора года, которые я прожил в Лос-Анджелесе до поступления на радиостанцию, я изучал Тору под руководством хасидского раввина Эстулина. Конечно, большим знатоком я не стал, но “ликбез” всё же прошёл. Хуже было с христианской частью (не говоря уже о других религиях) - мало того, что я почти ничего не знал, я чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке.

К нам на радиостанцию то и дело приходили письма, авторы которых, мягко говоря, недоумевали по тому поводу, что православную программу ведёт еврей.

На это я официальным образом обратил внимание руководителей русской службы. Они и сами прекрасно понимали неловкость подобной ситуации. В общем, начальство твёрдо обещало в самый короткий срок оставить меня только на еврейской программе, заменив на всех остальных. А пока мне в помощь были наняты вне штата два православных священника: архиерей Кирилл Фотиев из Нью-Йорка и архиепископ Сан-Францисский Иоанн, которые отне-

слись ко мне очень по-доброму. Бережно храню подаренный архиепископом экземпляр его книги с трогательной надписью. А отец Кирилл оказался прекрасным, весьма эрудированным собеседником и приятным собутыльником.

Редкий случай, когда начальство держит обещание: некоторое время спустя в штат “Голоса“ был принят молодой священник Виктор Потапов, он навсегда освободил меня от “чужих богов“ . Шутка, конечно. А всерьез замечу, что когда религиозную программу, включая еврейскую часть, до моего прихода вёл христианин, ни одного протестующего письма ни от одного еврея не поступило. Любопытно, правда?

Первое десятилетие моей работы на “Голосе Америки“ - восьмидесятые годы, время Рейгана, время победы над коммунизмом. Кем бы ни были сотрудники радиостанции по своему происхождению, возрасту, религии - мы все знали, что противоборствуя коммунизму, мы делаем великое дело. Удивляло, однако, отношение некоторых (многих, честно говоря) американцев к “своему голосу“. Речь идёт в первую очередь об американских либералах. Политическая корректность стремительно набирала силу, а одна из её догм гласит, что все несчастья страны проистекают от правительства, - оно не бывает хорошим, оно по определению зло, особенно если оно республиканское.

Помню, как в самом начале моей американской жизни я попал на приём в очень богатый дом, хозяйка которого, пламенная либералка, с гордостью сказала: “Мы всегда воюем с правительством“. Она была уверена, что найдёт у меня поддержку: я ведь тоже не любил “своё“, т.е. советское правительство. А если правительство делает что-нибудь хорошее? Она посмотрела на меня как на безнадёжного идиота: так не бывает никогда.

“Голос Америки“ - правительственная организация, и это сказывается на его положении. Дело не в том, что его не любят либералы, это можно пережить, но, к примеру, его программы транслируются так, что их невозможно принимать на американской территории. Этот факт буквально сшибает с ног новых эмигрантов. Казалось бы, где еще послушать “Голос“, как не в Америке?.. А вот нет: правительственная радиостанция по закону не имеет права участвовать в политической жизни внутри страны. А разреши - так она будет пропагандировать политику правящей партии, так ведь? В общем, если вдуматься, в этом есть смысл.

Программы “Голоса” предназначены для заграницы - непре-

ложная истина, и когда у нашего микрофона выступает государственный деятель или крупный политик, он знает об этом, однако не было случая, чтобы кто-то отказался дать интервью. Вот с деятелями литературы и искусства бывало сложнее, поскольку почти все они либералы и автоматические противники всего правительственного. Расскажу в этой связи одну историю.

Русские читатели старшего поколения помнят такого американского писателя - Говарда Фаста. В шестидесятых годах его произведения охотно печатались в Советском Союзе, поскольку соответствовали строгим требованиям официальной советской идеологии. Их автор был коммунистом, ненавидел капитализм, сочувствовал советской политике. Всё было хорошо до тех пор, пока Говард Фаст не осудил публично подавление венгерского восстания советскими танками. Это привело к ссоре с коммунистами и к выходу писателя из американской компартии.

И вот однажды (дело было, помнится, в середине восьмидесятых годов) призывает меня начальство и велит отправляться в Роквилл, в Еврейский общественный центр Большого Вашингтона, где известный писатель Говард Фаст выступает перед читателями. Мне надлежало описать встречу и взять интервью у писателя.

Откровенно скажу, такое поручение - провести интервью - встречаешь не всегда с удовольствием. Но одно дело отправиться на интервью с каким-нибудь деятелем, чьё имя слышишь впервые, а другое дело - со знаменитым, со школьных времен почитаемым и читаемым автором. Особый интерес я испытывал к нему еще и потому, что отлично помнил скандал, разразившийся после его выхода из американской компартии. Помнил статейки в советских газетах с непременным смакованием еврейского происхождения Фаста - до того он считался «просто американцем», многие и не догадывались, что он еврей. Известный в те времена литературный погромщик Николай Грибачев (кто-нибудь помнит такого?) рекомендовал бывшему коммунисту Фасту «идти в синагогу по примеру своих предков». Не потому, конечно, что Фаст - верующий, а чтобы ясно было, кто есть кто... В общем, я чувствовал в нем своего, родного, тоже беженца от антисемитского коммунизма, как мы, тогдашние эмигранты. Вот уж с ним-то есть о чем поговорить, вот уж с ним-то у меня найдется много общего, думал я. И ой как ошибся...

Встреча с читателями была посвящена выходу новой книги Говарда Фаста - не помню, к сожалению, какой именно. Но о книге писатель сказал как-то между прочим, почти вскользь, а главное

время и главные силы обратил на политическую ситуацию в стране в связи с приближавшимися президентскими выборами. Его политические симпатии были на стороне демократов, но говорил он больше всего о политическом противнике - кандидате республиканцев Рональде Рейгане. Боже, с какой страстью, с какими переживаниями, с какой поистине коммунистической нетерпимостью! Он утверждал, что Рейган - это неизбежная мировая война, всеобщий крах, смерть. Что касается личности президента, Фаст без стеснения называл его глупцом и невеждой, в жизни не прочитавшим ни одной книги. Наполнявшие аудиторию еврейские дедушки-бабушки, традиционно голосующие за демократов, - и те, мне казалось, были шокированы большевистской прямолинейностью оратора: что ни говори, они были, в основном, мягкосердечными либералами, а не твердокаменными коммунистами...

Как только этот, по сути дела, предвыборный митинг закончился, я подбежал к писателю и попросил интервью.

- Из какой вы газеты?

- Я из «Голоса Америки»

- Что?! - громыхнул писатель, и душа у меня ушла в пятки. - Ну нет, фашистской радиостанции я интервью не дам.

- Почему же фашистской? - я искренне недоумевал.

- Да потому, что вами руководит ЦРУ!

Это меня задело:

- Во-первых, мы входим в Информационное агентство, а не в ЦРУ. А потом... да хоть бы и ЦРУ - это же все-таки не КГБ...

Тут он взвился по-настоящему. В короткой страстной речи он объяснил мне, что ЦРУ вместе с Пентагоном пытается установить фашистский режим и разжигает мировую войну, что миролюбивый Советский Союз столько-то раз предлагал разоружиться, но американское правительство отказывалось.

- И правильно, что отказывалось. Уж вы-то должны знать, что коммунистам верить нельзя.

Судя по всему, он воспринял это как личное оскорбление. Оттолкнув микрофон, он поднялся с места. Как говорят в таких случаях, аудиенция была окончена...

Вот и все, на этом и заканчивается история моих личных отношений с американским писателем Говардом Фастом. Однако несостоявшаяся беседа крепко запомнилась мне, я то и дело вспоминаю о ней, наталкиваясь в печати на статьи так называемых «левых интеллигентов». Поразительно! Как же устроены их мозги: реальность для них как бы не существует! Усвоив однажды раз и навсегда

да, кто «хороший» и кто «плохой» в соответствии с коммунистической доктриной, они остаются на этой позиции, что бы ни происходило в мире.

За двадцать с лишним лет работы на “Голосе“ я провёл огромное количество интервью с самыми разными людьми, в частности, почти со всеми видными участниками еврейского движения за эмиграцию - со Слепаком, Левичем, Бегуном, Щаранским, Нудель, Эдельштейном... всех не перечислить. И с американцами, поддерживавшими это движение - политиками, общественными деятелями, священниками... Среди них были яркие, смелые люди, с интересными идеями, но были, что называется, и наоборот... Самыми скованными, не оригинальными и предсказуемыми выглядели, как можно было ожидать, государственные деятели - эти всегда боятся сказать лишнее слово, как бы потом не упрекнули... В этой связи вспоминается такой случай.

Нашему сотруднику X было проручено пойти на какое-то собрание, где должен был выступать влиятельный сенатор, и написать отчёт о встрече. Надо сказать, что коллега X не отличался большим рвением, а тут идти вечером на какое-то собрание... Он не пошёл. Утром явился на работу, сел за свой стол и написал отчёт. Конечно, с самого начала это была халтура: ни одной магнитофонной записи выступавших ораторов. Хотя речь сенатора он пересказал довольно подробно.

И вот когда злополучное сообщение уже готовилось к выходу в эфир, стало известно, что собрание вчера не состоялось, его перенесли на сегодня. Разразился скандал. К счастью для коллеги X, скандал не успел перекинуться в директорский кабинет, а то выгнали бы как пить дать. А на собрание послали другого сотрудника, который принёс добросовестный отчёт. И что же? Когда сверили придуманную коллегой X сенаторскую речь с подлинной речью, записанной на магнитофон, различий почти не было...

Но запомнились и другие случаи, когда государственный деятель, выходя за рамки политической немоты, высказывал смелые мысли. Таким был премьер-министр Израиля Ицхак Шамир, с которым я встретился в Иерусалиме при следующих обстоятельствах.

12 сентября 1991 года президент США Джордж Буш заявил, что Израиль будет лишён американских кредитов, если не прекратит строительства еврейских поселений на контролируемых территориях. Израиль отказался подчиниться американским требованиям,

возник очередной кризис в израильско-американских отношениях. 13 сентября, то есть на следующий день, я вылетел в Израиль. Конечно, у меня есть соблазн представить всё так, что меня специально послали освещать кризис, но на самом деле поездка была запланирована давно - на конференцию по международному вещанию, и просто случайно так совпало. Но... Когда участники конференции встретились с премьер-министром, он согласился дать отдельное интервью только корреспонденту “Голоса Америки“, и вот это уже было не случайно.

Интервью проходило в резиденции премьер-министра, и касалось, естественно, израильско-американских отношений. Тот неприятный кризис уже принадлежит истории, и не стоит пересказывать, кто что тогда говорил. Когда тема была исчерпана, я попросил Шамира высказаться также о перспективе израильско-российских отношений, учитывая, что передача идёт на Россию.

- Как вы представляете себе отношения с новой Россией? - спросил я.

Напомню, это был сентябрь 1991 года, время стремительных перемен в Советском Союзе.

- Новая Россия? Что вы имете в виду?

- Новая некоммунистическая Россия. Россия Ельцина, - пояснил я.

Он грустно улыбнулся:

- А, Елцин-Шмелцин, новая-старая... Руссланд блайт Руссланд (Россия остаётся Россией - идиш).

Эти слова я вспоминал все последующие годы...

Помимо “Обзора еврейской жизни“, я в разное время вёл несколько различных программ. Особо отметить хочется беседы на правовые темы, которые мне довелось вести с совершенно замечательным человеком - Диной Исааковной Каминской.

В прошлом видный московский адвокат, Дина Исааковна вызвала неудовольствие коммунистических властей своим участием в политических процессах 60-х годов. Она защищала известных диссидентов В.Буковского, Ю.Галанскова, Л.Богораз, Ан. Марченко, Мустафу Джамилёва. Притом её явно не устраивала та роль, которая предназначалась советским правосудиям для адвокатов в политических процессах: сожалеть по поводу заблуждений своего подзащитного и уповать на милосердие советского суда. Дина Исааковна не боялась говорить в лицо судьям, что по законам цивилизованного общества её подзащитные ни в чем не виноваты. Как

это не виноваты? А распространение самиздата? А демонстрация на Красной площади против действия советских войск в Чехословакии? В общем, с 1971 года Каминскую перестали допускать к политическим делам. Одновременно начались разного рода придирки, гонения, преследования. Последовали домашние обыски, допросы в КГБ, прямые угрозы. В результате в 1977 году Каминскую и её мужа, видного правоведа К.М.Симиса, вынудили уехать из СССР.

В Америке Дина Исааковна продолжала свою правозащитную деятельность - уже в другой форме, конечно. Её беседы на волнах русскоязычного иностранного радио несли слово разоблачительной правды относительно советской государственной и правовой системы. Ту же задачу мы ставили себе и в юридических беседах по "Голосу Америки".

Работать с ней было несравнимым удовольствием. Да, она была близким мне по взглядам и духу человеком, но это не значило, что мы во всём соглашались. Случалось, спорили в эфире и весьма азартно. Она, к примеру, была убеждённой противницей смертной казни, тогда как я считаю, что убийцу следует лишить жизни. Большие сомнения я стал с некоторых пор испытывать по поводу института присяжных заседателей, тогда как для Каминской это было одной из основ демократической судебной системы. Спорить с ней было интересно и поучительно. Образ этой смелой, доброй и мудрой женщины навсегда сохранится в моей памяти.

Рискну показаться нескромным, но скажу всё же несколько слов о письмах, которые все мы, в том числе и я, получали от слушателей. Вначале, в годы плотного железного занавеса, это были случайные послания, брошенные в почтовый ящик какими-то попавшими временно за границу советскими гражданами - например, моряками торгового флота. Дорвавшись до такой возможности, они на чём свет стоит кляли коммунистический режим и жаловались на своё непосредственное начальство. Но со временем, с расширением эмиграции и заграничных поездок, стали приходиться и более осмысленные письма, авторы которых не только критиковали советские реалии, но давали нам советы, на что обратить внимание в своих передачах. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить их за дельные советы, если кому-нибудь из писавших письма попадут на глаза эти строчки. Тем более, что и они нас часто благодарили за работу.

...В конце девяностых годов ситуация явно стала меняться. В

России развились и окрепли свои собственные независимые средства массовой информации. Таким образом “Голос Америки” утратил то, что называлось “монополией на правду”. Русские слушатели теперь предпочитали узнавать новости из российских средств информации, что нормально. “Голос” потерял свою былое место в жизни российского общества. “Вас слушают всё меньше”, - сказала мне как-то Елена Боннер. А ведь она всегда была другом “Голоса”...

К этому времени я и многие другие сотрудники моего поколения достигли пенсионного возраста. Самое время уйти. И мы ушли - с чувством выполненного долга: мы внесли свой вклад в победу над Империей Зла, угрожавшей всему миру и угнетавшей свой народ. А как освобождённый народ воспользуется своей свободой - тут уж “Голос Америки” ничего поделать не может...

Владимир Матлин половину жизни - 40 лет - прожил в СССР (в Москве), вторую половину - в Америке (в Вашингтоне). Окончил Московский юридический институт, работал адвокатом, постепенно переключился на журналистику. Был редактором и сценаристом на киностудии Центрнаучфильм. Эмигрировал в 1973 году, более двадцати лет проработал на “Голосе Америки”. В эмиграции начал публиковать рассказы и повести: сначала в американских русскоязычных журналах, затем в России.

Издан семь сборников рассказов и повестей.

В московском издательстве “Захаров” недавно вышел сборник избранных рассказов Владимира Матлина “Красная камелия в снегу”.

Приобрести книгу можно, связавшись по интернету с автором: vmatlin@yahoo.com

ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Натянутой струной на потускневшей лире
Озвучиваю все, что происходит в мире.
Пытаюсь изменить направленность движенья –
Не под откос, а в высь, где нету притяженья.

Свободы я хочу – взлетаю выше, выше.
Не плачу – хохочу. Пусть друг и враг услышат.
А впрочем – все равно. К чему мне чьи-то взгляды.
Театр и кино – мне ничего не надо.

То холод, то жара. Покоя нет на свете.
Укусы комара, распущенные дети.
По линии обрыв – не угол, а окружность.
Растраченная жизнь – все больше на ненужность.

Сегодня хорошо не пить, не есть, не плакать.
Ужасный солнцепек. По мне так лучше слякоть.
Хоть поперек, хоть вдоль, но больше параллельно.
Печальная юдоль. С решетками молельня.

Все так и все не так, а надо как – не знаю.
Хоть повзрослела, всё ж, от слов, как прежде, таю.
И хоть нелегок путь и долго до «финале»,
Я не хочу свернуть... И продолжаю ралли.

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Меня ничто не удивляет:
ни злость, ни жадность, ни уродство.
И уж давно не забавляет
Добра со злом большое сходство.
Не отличить порой бывает
Благих намерений от скотства.
Зло повсеместно пребывает
В особой нише превосходства.
Искать безгрешных – труд напрасный.
Так только время потеряешь.
Толпою все идут на «красный»...
И ни за что свой срок мотаешь...
Немыслимо мир переделать –
Вокруг царят раздор и смута.
Но что-то с этим надо делать –
Ведь кто-то плачет почему-то....

Все чаще избегаю нудных встреч.
И не боюсь я говорить: « Не буду».
Пытаюсь душу и покой сберечь,
Здоровой быть, не подхватить простуду.
Что мне считать те годы, что неслись,
Забыв меня на первом повороте.
Утешь, хоть взглядом губ моих коснись,
Я растворюсь, как в дивном привороте.
Лишь ты и я. Зачем чужие нам?
Всех вычеркнув, жалеть о том не стала.
Их песни, танцы, крики, шум и гам.
Чего им много – мне обидно мало.
Я раздавала все, что я могла...
О всех их недостатках забывала.
Пыталась их сберечь – не сберегла.
Бороться с ними не хочу. Устала.
Пусть будет так. Господь нас резберет
На правых, проигравших, не игравших,
Мое «прощаю» грех с души сотрет,

Помилует предавших и продавших.
Что дружба? Жаль – в глазах моих печаль.
Все, что святым считалось – на закланье.
Меня давно влечет иная даль.
Не верю я ни в сказки, ни в преданья.
Все горести – навек морским узлом.
Креплюсь, хоть то бледнею? то немею...
Но до последних сил борюсь со злом...
И жить пытаюсь лучше, чем умею.

Не видимся. В проклятой круговерти
событий разных затерялась нить,
которая вести должна, хранить,
беречь от жизни и спасать от смерти.

Не пишется. Хоть верьте, хоть не верьте,
совсем не знаю, как мне дальше жить?
Что делать, с кем дружить, кого любить,
кому слать письма в тоненьком конверте.

Читать стихи Вам... Это хоть доверьте.
Чтоб жить хотелось, петь и даже пить.
И дружбы, чтоб водою не разлить...
а пониманья толику отмерьте.

Хоть много слов, но как-то все не в лад.
Журчащий ручеек – не водопад.

Я убегаю от тебя.
Куда? Не знаю.
Бросаю прошлое в костер -
и в нем сгораю.

Ты не пытался объяснить
свою идею:
в чем смысл не встреч и не любви.
От слез седею.

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Ты не берешь и не даешь –
так равнодушен.
Смысл монолога твоего
предельно скушен.

Я изменилась, ты – другой.
Что дальше будет?
Кто нас похвалит, пожурит,
Кто нас рассудит?

Роняет лепестки на стол
цветок осенний.
Невмоготу души раскол –
ищу спасенья.

Не оглянусь я, не вернусь,
не зарыдаю...
Ты равнодушно смотришь как
В закате таю.

Я убегая от тебя...
Я погибаю...

Во сне стихи пришли опять.
И правили сонеты бал...
Их не успела записать,
А Тот, кто диктовал, устал.

Вернется ль Он ко мне, как знать.
Исчез, с собою не позвал.
На что хотел Он указать?
Что утаил? Недосказал?

Я знала точно, может дать
На все разумный он ответ.
За что мир обречен страдать?
Кто погасил в тоннеле свет?

Мне б слушать, не перебивать,
Чтоб получить его ответ.
Грех ль Музу к рифмам ревновать?
Есть высший разум или нет?

А я – вопросы задавать:
«Зачем я принесла обет
Жить и дышать, чтобы писать?»
Вопрос, ответ. Вопрос, ответ.

Мир проиграл – зло правит бал.
И мыслей нет и рифмы нет.
Не пишется. Ведь Он устал.
И погасил в тоннеле свет.

Вопрос, ответ, вопрос, ответ.
Несутся мысли под откос.
Пожар, война, парад планет.
Качает нефть тупой насос.

Ощерились ракеты в высь.
Голодных и не сосчитать...
Сначала в мире приберись.
Затем спокойно можешь спать.

Молчит, не хочет отвечать.
Его так трудно разбудить.
И больно шепотом кричать.
И без стихов нет смысла жить.

Вновь я кричу: «Довольно спать.
Коль не пишу, мне жизни нет»
А Он: «Не стоит так кричать...
Не против я. Пиши сонет».

Шекспир. Сонет № 66
(попытка перевода)

Мне жизнь ужасна. Что гримасы смерти?
Наш мир уже давно сошел с ума.
Шут лижет спины. Строит вор дома.
Распята совесть. Яды шлют в конверте.

Все на продажу. В этой круговерти,
Кто честен – тому паперть иль сума.
Бездарных книг написаны тома.
И опозорена честь в Интернете.

Правителям и пасторам не верьте.
Все на продажу. В мире правит тьма.
Для несогласных – ссылка иль тюрьма.
Прошу: пять унций яду мне отмерьте.

О чем жалеть? Спокойно я уйду.
Но с кем поделишь ты свою беду?

Эллайда Трубецкая – поэт не по профессии, не по призванию, она поэт по рождению, по сути своей. Легко, безо всяких видимых усилий со стороны автора, словно небрежно, сами собой бегут строки ее стихов. Что есть знак не мастерства, а скорее естественности, невозможности быть никем иным, кроме как поэтом. Ей «жребий выпал жить, чтобы писать». И эта тайна рождения поэта продолжается тайной рождения стихотворных строк, манящих и загадочных, таящих в себе глубину чувств и недосказанность восприятия.

Стихи Эллайды Трубецкой опубликованы в 18-ти книгах в США и России, в бесчисленных периодических изданиях и в интернете.

ГЕРМАН ТОДОРОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Я сползаю по снежному склону
К серебристому краю обрыва.
Необратимо.
Вниз.

Я очнулся вчера на вершине,
Я доверчиво выпростал руки,
Я вдохнул поднебесного ветра
И шагнул к восходящему солнцу...

И теперь – по скрипучему снегу
К обнаженному рваному краю
Я сползаю,
 сползаю,
 сползаю...

Нету смысла кричать или плакать,
Можно только молчать и молиться:
Всем известно, что скорость паденья
Не зависит от скорости звука.

Значит молча – по снегу, по склону,
Еле слышно – по тихому стону,
К пустоте по зубчатому краю,
К тишине я по стону сползаю...

СТИХОТВОРЕНИЯ

Будет воздух пустым и холодным.
Эхо – гулким.
Паденье – свободным.

А потом я очнусь на вершине
И шагну к восходящему солнцу.

Я тяну, как честный фокусник,
Ночь из ящика бессонницы,
А в проеме между стеклами
Все рассветнее становится.

На ячейки треугольные
Тишину фасуют ходики,
И крамольные, глагольные
Рифмы в злые строфы сходятся.

Так бывает, так случается.
Отчего? – Поройся в памяти:
Измеряются отчаяньем
До рассветов расстояние.

Потому что чище зеркала
Нет, чем ночь и одиночество,
Где лицо мое двумерное
Изгибается и корчится.

Остается только мыкаться
Между идолами совести,
И к бессоннице-бесмыслице,
Словно к лестнице, готовиться.

Я слеп,
Но я вижу свет.

Я глух,
Но имею слух.

Нищ, бос,
Но не знаю слез.

Нем, тих,
Но приду на крик.

.....
Стал зряч,
Но в глазах – плач.

Не глух,
Но в ушах – стук.

Сыт, здоров:
Ни долгов, ни прав.

Силен,
Но в гортани стон,
Боль, страх,
Ибо я лишь прах.

.....
Был слеп.
Но ведь видел Свет...

Мы умеем драться за воду и хлеб
И на спинах ближних чертить круги,
Мы знаем: ни лжи, ни правды нет –
Есть простая система «хватай – беги».

Мы умеем слушать, как дышит мгла,
Мы умеем красться под шум колес,

СТИХОТВОРЕНИЯ

И никто ладоней наших тепла
Не купит фальшивой монетой слез.

Но однажды проснувшись под стук секунд
И увидев разводы на потолке,
Мы пойдем – любая дорога в грунт
И любое течение вниз по реке...

Но мы не крикнем – зубы в металл,
Ногти в ладони – пусть брызнет боль:
Агония лучше, чем пустота,
Как лучше бульона сырая кровь.

А потом мы обмякнем и станем смотреть,
Как оранжевый дождь растворяет дома,
И можно маску с лица стереть
И, не вставая с постели, сойти с ума.

Герман Тодоров родился в Харькове в 1966 году. Окончил химический факультет Московского государственного университета. Писать стал рано, но профессиональным литератором не стал, т.к. полностью посвятил себя науке. Защитил кандидатскую диссертацию в области биохимии.

В 1990 году эмигрировал в США.

Занимался проблемами регуляции роста клеток и старения организма. Опубликовал ряд научных работ. Выпустил научно-популярную книгу о проблемах старения организма, которая увидела свет на английском и русском языках.

Стихи публиковались в Москве в альманахе «Теплый Стан» и в подмосковной «Черноголовской газете», проза выходила в журнале «Энергия». В прошлом году в номере 1 (25) подборка его стихов была напечатана в нашем журнале.

НОЭМИ ШКУНДИНА

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ПРАВИЛА

*Отклик на полемическую статью Марка Гинзбурга
“Школа убивает способности к творчеству”
(номер 4 (28) за 2013 год)*

Статья вызвала интерес читателей, особенно родителей, у кого растут дети школьного возраста.

Мы получили ряд положительных откликов, в том числе от преподавателей. Впрочем, некоторые не во всем согласны с автором.

В этом номере мы приводим мнение Ноэми Шкундиной – руководителя образовательного Центра “Интеллект”, существующего в Нью-Йорке уже 18 лет и снискавшего популярность среди учащихся. Большинство прошедших подготовку в этом Центре смогли поступить в престижные колледжи.

Ноэми Шкундина была призером Всесоюзной математической олимпиады, закончила механико-математический факультет МГУ. Много лет до эмиграции проработала в Московском международном университете бизнеса и информационных технологий.

Постановка вопроса о школьном образовании, безусловно, правомерна.

Автор справедливо указал на болевые точки преподавания, прежде всего, математики – дисциплины, уровень знаний которой в значительной степени определяет возможности молодых людей при поступлении в колледжи и университеты.

Со своей стороны, замечу, что образование в Америке как таковое – очень неровное: высшее образование – превосходное, а школьное... В то же время очевидно: тот, кто хочет получить хоро-

шее образование, может его получить, от нуля и до высшего. При этом знания в человека никто не впихивает, все зависит от желания его самого и его родителей, влияющих на выбор ребенка, нередко формирующих этот выбор.

Если говорить о школе, то здесь мы видим своего рода ранжирование, классы дифференцированы, хорошие ученики – с хорошими, плохие – с плохими, однако плохие вполне при желании могут подняться до хороших. Учителя же не заинтересованы заставлять учиться, как было в СССР. Все, повторю, зависит от желания самого школьника и только от этого.

Напомню, что в школах Нью-Йорка и ряда других штатов существуют три вида дипломов. Самый высший – Advanced Regents, далее по убывающей следуют Regents и Local. В основном они отличаются количеством экзаменов по математике. Достижение первого уровня – Advanced Regents – дает право поступать в любые колледжи и университеты США. Regents – только в двухгодичные колледжи. Local требует сдачи дополнительных экзаменов для права поступления.

Кроме того, необходимо сдать тесты SAT-1 и SAT-2.

М. Гинзбург указывает : “...конечная общая цель школы всех уровней в изучении математики – подготовка ученика к сдаче экзаменов SAT-1 или SAT-2, результаты которых во многом определяют возможности поступления в престижный колледж...” Верно, только не совсем точно – не *или*, а *и*. К тому же SAT-1 включает в себя экзамен не только по математике, но и английскому, а SAT-2 – по разным предметам.

Далее по поводу тестов автор правильно пишет: “Это, конечно, полезная работа, которая тренирует логику поиска решений, анализа того, что можно извлечь из условий и вопроса задачи. *Но этого мало для развития творческих способностей*”. В союзники он берет выдающегося ученого Давида Каждана, цитирует его фразу, что учить талантливых детей нужно на чем угодно, только “не на тестовых задачках. Они не будят воображение”.

С Кажданом я хорошо знакома, будучи школьниками, мы оба занимались в математическом кружке при МГУ, а затем учились на мехмате. Тогда и после мы все звали его Димой... Приехав в Бостон в самом начале нашей эмиграции, я часто встречалась с ним и бывала на его семинарах. В моем представлении Дима всег-

да был гениальным ребенком и остается гениальным ученым и педагогом. В Америке он вырастил множество талантливых ученых из талантливых мальчиков и девочек.

Безусловно, к талантливым ребятам подход особый. Однако мысль М. Гинзбурга, что тестов мало для развития творческих способностей, представляется спорной. Сколь бы ни был одарен ребенок, он должен получать весь объем необходимых знаний и демонстрировать их. Тесты необходимы всем, и талантливым, и средним ученикам. Тесты в целом показывают знание полученного материала, от них не надо требовать иного. Притом ученик не должен уповать только на автоматизм действий, чтобы в отпущенное сжатое время решить все задачи теста (не более одной минуты на каждую). Задачи нельзя решать в лоб, необходимо использовать приемы логики, я бы назвала их *tricks*, здесь и может и должно работать воображение.

В математике нет места автоматизму. Автоматически можно заучить таблицу умножения и не более того. Все остальное должно быть логически осмысленным. Математика требует фантазии, пусть это и звучит для многих непривычно. Точная наука – и фантазия? Да, представьте себе. Великий Давид Гильберт говорил об одном из своих учеников: “Он стал поэтом – для математика у него не хватало фантазии”...

Разумеется, очень многое зависит от уровня школьного преподавания. К сожалению, процент неквалифицированных учителей очень высок. Они с первого дня привыкают работать с подсказками ответов. Пользуются теми же учебниками, что и учащиеся, только уже с решениями тех или иных задач. Они отвыкают думать, исключают из своей деятельности творчество. Поэтому так важны индивидуальные занятия с детьми, стремящимися к знаниям. И не случайно в наш Центр “Интеллект” постоянно приходят родители, записывающие своих чад для изучения математики и других предметов. Мы никогда не объединяем детей с разным уровнем знаний – иначе более способным и продвинутым будет просто скучно на занятиях. А скука и творчество несовместимы.

Ученикам, стремящимся пополнить ряды студентов престижных колледжей и университетов, есть где совершенствовать свои знания. Существует масса мест, где занимаются с одаренными детьми. Например, университет Джона Хопкинса в Балтиморе организует летнюю школу для таких ребят. То же и во многих других университетах. Польза от таких летних школ огромная.

...Марк Гинзбург в конце своей статьи бьет тревогу: “Подавляемый творческий потенциал страны, неразумно утрачиваемые возможности развития творческих личностей – это невозполнимые потери, ущерб, особенно опасный перед лицом лавины внешних и внутренних “неразрешимых” проблем разного уровня, решить которые привычными путями просто невозможно”.

Мне кажется, автор несколько драматизирует ситуацию. В целом, количество студентов соответствует потребностям нашей страны; существует определенный баланс, который регулируется потребностями общества в тех или иных профессиях, специальностях. Да, гораздо меньше половины оканчивающих школы поступают в колледжи, но без работы они не остаются. Если, конечно, хотят работать.

В Америке никто никого не заставляет учиться, все зависит от самих молодых людей. Высшее образование – не панацея, хотя мне лично было бы приятно видеть больше выпускников школ в студенческих аудиториях. Увы, это и вопрос финансов – не все родители готовы и имеют возможность оплачивать учебу детей, а сами дети не жаждут брать большие займы на такую оплату.

И тем не менее, талантливым молодым людям все дороги открыты. Приведу пример одного из любимых учеников Давида Каждана – Никиты Розенблюма. Он вошел в пятерку победителей олимпиады, каждый год проводимой известной фирмой “Интелл”, и получил от президента именной чек на обучение в любом университете США. Никита поступил в Гарвард. Затем он защитил диссертацию в Массачусетском Технологическом Институте (MIT), получил степень PhD и в настоящее время является профессором Чикагского университета.

Вы скажете – исключение? Я же полагаю – это правило. Способности и талант в Америке умеют ценить...

АЛЕКСАНДР ГУН

КАК ОДЕССА «КИНУЛА» ПАРИЖ

История одной авантюры-мистификации

Прошедшим летом, будучи в Одессе, я познакомился с очень интересным человеком. Александр Гун, так зовут моего нового знакомого и земляка, как истинный одессит, влюблен в море и всю жизнь плывал на кораблях советского торгового флота.

Будучи увлеченным человеком, он всегда интересовался историей родного города, судьбами людей, прославивших его. Однажды ему в руки попала небольшая, но занятная книга “Поддельные шедевры. Страницы истории искусств”. В ней он наткнулся на упоминание знаменитого до революции одесского ювелира Израиля Рухомовского, своим мастерством и талантом посрамившего авторитет многих западноевропейских экспертов античного искусства.

К сожалению, имя Рухомовского современным одесситам, даже старшего поколения, ничего не говорило. Это обстоятельство разожгло любопытство моряка. Александр по крупицам начал добывать сведения о земляке.

По-настоящему историей ювелира Рухомовского он занялся, выйдя на пенсию. Были задействованы бтблиотеки, музеи, университеты и культурные центры России, Израиля, Украины, Беларуси. Александр собрал обширный исторический материал, который лег в основу его книги.

“Тайна золотой тиары” - так называется исследование Александра Гуна, изданное в Одессе более года назад при поддержке сына автора - московского бизнесмена Юрия Гуна. Оригинально оформленное издание вышло в свет крохотным тиражом и немедленно стало раритетом.

Мне завидуют многие друзья-одесситы потому, что в моей домашней библиотеке есть экземпляр книги с дарственной надписью автора.

При поддержке одесских общественных организаций и главного раввина города Абрама Вульфа он предпринял шаги по увековечива-

нию памяти знаменитого одесского ювелира. В частности, по инициативе Александра Гуна мэром города принято решение установить мемориальную доску на доме номер 6 по улице Осипова, бывшей Ремесленной, где жил мастер. Памятный знак заказан известному одесскому скульптору Александру Князину. Мемориальная доска будет изготовлена на пожертвования одесситов. Свою лепту в это внесла и редколлегия нашего журнала. Планируется, что открытие памятного знака состоится в канун 70-летия освобождения Одессы от фашистских оккупантов.

Мы предлагаем читателям “Времени и места” журнальную версию истории, сделавшей имя одесского мастера Израиля Рухомовского известным в мире самых авторитетных антикваров.

Игорь Шихман

Весной 1896 года парижский Лувр приобрел новый ценный экспонат. В зале античного искусства одного из лучших музеев Европы была выставлена для обозрения редчайшая находка – золотая тиара скифского царя Сайтоферна, правившего скифскими племенами в третьем веке до нашей эры и получившего ее в дар от жителей Ольвии. По любопытному стечению обстоятельств день, когда имело место это событие, был первым апреля 1896 г.

Тиара – головной убор античных царей – представляла собой парадный шлем в виде высокого купола из золота. Бесценную реликвию, обнаруженную на юге России при раскопках могильника древнегреческой колонии на берегу Бугского лимана – Ольвии, ввиду ее уникальности трудно было оценивать в денежном эквиваленте.

Немного истории.

Античная Ольвия была основана примерно в шестом веке до нашей эры в устье Буга, недалеко от нынешнего Очакова. Благодаря своему выгодному географическому положению, развитию торговли и промышленности, богатая Ольвия занимала одно из первых мест среди греческих городов Понта Эвксинского (Черного моря). Но спустя почти тысячу лет, в середине третьего века н.э., одна из крупнейших греческих колоний в Северном Причерноморье была разорена и разрушена племенами готов-даков.

В девятнадцатом веке благодаря раскопкам русских археологов на месте древней Ольвии были обнаружены богатейшие погребения и клады. Из небытия возвращались творения античных мастеров: скульптуры, расписные вазы, золотые и серебряные

украшения, мраморные плиты с текстами на древнегреческом языке. Среди находок оказалась и плита-колонна из белого мрамора, которая была обнаружена в 1822 году и вошла в историю под названием «Декрет Протогена» (ныне находка хранится в Петербурге). Надпись на ней гласила, что ольвийский гражданин Протоген, чтобы защитить город от разорения, преподнес скифскому царю Сайтоферну 900 золотых монет. Нижний кусок плиты, увы, был отбит и при раскопках не найден. Это обстоятельство сыграло ключевую роль в нашей истории.

Что было изображено на недостающей части колонны, оставалось загадкой... Но только до тех пор, пока миру не была явлена тиара. Куполообразный чеканенный шлем-корона из тонкой золотой полосы весом 486 граммов, высотой 17,5 см и диаметром 18 см, был безупречен. Главное место среди горизонтальных орнаментов занимала широкая полоса с изображениями сцен из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. А между фризами по кругу шла надпись древнегреческими буквами, гласящая: «Сенат и народ Ольвии почитают великого и непобедимого царя Сайтоферна». Шрифт надписи на тиаре во всех деталях совпадал со шрифтом декрета Протогена.

Ученые сделали вывод: это и было написано на отбитом куске плиты!

Вот какой ценной покупкой мог похвастаться Лувр. Этому приобретению предшествовала многодневная работа представительной комиссии, состоявшей из искусствоведов с мировыми именами во главе с директором Лувра господином Кемпфоном. Проведя тщательные исследования, ученые мужи подтвердили, что тиара изумительной работы и превосходной сохранности является выдающимся произведением искусства древности.

Цепочка фигурантов

Золотая корона вызывала восхищение. Но цена, которую запросили продавцы, была фантастической для тех лет – двести тысяч франков!

Такую сумму мог выделить только французский парламент, но он в это время был на каникулах. Выручили богатые меценаты. Они дали музею необходимую сумму в долг для покупки бесценного экспоната, но при условии, что эти деньги им вернет правительство Франции. Сделка состоялась. На основании заключения комиссии парламент Франции для приобретения тиары выделил двести тысяч франков, что по курсу конца девятнадцатого века превышало сто тысяч российских золотых рублей.

Лувр приобрел головной убор скифского царя и тут же выставил древний шедевр на обозрение публики. Занявшая почетное место в зале античного искусства тиара вызывала восторженное удивление специалистов, знатоков и многочисленных посетителей знаменитого музея. Корона-шлем стала предметом гордости парижан.

Откуда же прибыл в Париж бесценный дар ольвийских греков? Его привезли из Вены антиквар Антон Фогель и его компаньон маклер Шиманский. А те, в свою очередь, получили тиару из рук предприимчивого коммерсанта из Одессы – Шепселя Гохмана, уроженца Очакова.

Надо сказать, Лувр был не первым музеем, которому предложил эту находку знаток древностей Гохман. Немногим ранее приезд последнего наделал много шума в Венском императорском музее. В качестве экспертов пригласили лучших венских археологов и искусствоведов. И почти все они в один голос подтверждали, что тиара скифского царя Сайтоферна – подлинное творение античного художника высокой ценности. Но уплатить огромную сумму, которую потребовал очаковский негодник, музей не смог. И тогда Гохман обратился за содействием в Вене к частному антиквару Антону Фогелю. Так корона-шлем отправилась в Лувр.

После сделки в Лувре удачливые продавцы тиары получили немалые барыши: Шиманский – сорок тысяч франков, Фогель – семьдесят четыре тысячи. Но более всех, разумеется, заработал купец из Очакова. Гохман увез на родину восемьдесят шесть тысяч франков.

В родном Очакове Шепсель Гохман и его брат Лейба выделялись из среды обычных торговцев особой предприимчивостью и сметливостью. Круг их интересов был необычайно широк, включал все, что сулило приличную прибыль. Но, спустя время, они отдали предпочтение древним артефактам и старинным украшениям. Шепсель Гохман был довольно образованным человеком, неплохо разбирался в предметах старины, и торговля шла весьма успешно. К тому времени, когда происходили описанные события, братья Гохманы в Одессе держали магазин в доме на улице Херсонской, 17 (ныне Пастера), в витринах которого были выставлены ожерелья, перстни, диадемы, серьги. Откуда же были все эти драгоценные товары?

Тем же вопросом были озадачены директора и эксперты Венского императорского музея: откуда взялась у очаковского купца тиара скифского царя Сайтоферна?

Гохман объяснил: античная Ольвия совсем неподалеку от Очакова, там в о время раскопок обнаружили скифскую могилу с богатым кладом. Это оказалось захоронение царя Сайтоферна и его жены. Вот откуда взялись прекрасно сохранившиеся тиара и дорогие украшения. Гохман добавил, что вложил в приобретение этих сокровищ все свои сбережения. Все выходило складно...

Визит Гохмана в австрийскую столицу был не случаен. За несколько лет до приезда в Вену коммерсант поставил на широкую ногу продажу богатым невеждам «археологических находок», в основном фрагментов мраморных плит с надписями на древнегреческом языке. Надо признать, что расцвету «античной лихорадки» способствовало то, что при раскопках в Ольвии в те годы не велось никакого государственного контроля. Но очень скоро интерес коллекционеров к этим плитам иссяк. И тогда расчетливые братья решили обратить внимание на золотые изделия и поработать за границей. Вот так торговец из Очакова появился в Вене...

...А французы упивались ценным приобретением. Отдельные голоса серьезных специалистов, сомневавшихся в подлинности купленного Лувром раритета, не принимались во внимание. История о скифском царе и его легендарном головном уборе вошла во все солидные энциклопедии.

Дым без огня

Прошло семь лет, и неожиданно для всех разразился грандиозный скандал.

Подделка! Фальшивка! Фальсификация! Мистификация! О чем это?! Представьте себе, о шлеме-короне царя Сайтоферна. Невероятно!

О том, что тиара Сайтоферна – не та, за которую себя «выдает», уже через месяц после покупки Лувром, в мае 1896 года, писал видный русский ученый, профессор Петербургского университета А.Н. Веселовский. В частности, в письме в газету «Новое время» он заявил, что «эта тиара могла быть просто сфабрикована в Очакове, где имеются специалисты по этой части».

Сомнения, что тиара настоящая, высказал и директор Одесского археологического музея Эрнст фон Штерн. Приглашенный в Одессу преподавать классическую филологию в Новороссийском университете, он вскоре активно включился в работу Одесского общества истории и древностей. А немного позднее был приглашен возглавить работу Одесского музея древностей. Одним из направлений его работы стало разоблачение раз-

вившихся в ту пору на русском Юге фальсификаций античных памятников.

И 2 августа 1896 года, спустя всего четыре месяца с того момента, как Лувр выставил свое бесценное приобретение, Эрнст фон Штерн выступил на десятом съезде археологов в Риге, где прочел реферат «О подделке предметов классической древности на Юге России» и высказал вполне аргументированные сомнения в подлинности тиары.

Но на мнение русских ученых французы не реагировали...

Кстати, годом ранее, в 1895 году Эрнест фон Штерн без труда разоблачил подделку – золотые кинжал и корону, которые николаевский коллекционер Фришен приобрел у неких «крестьян», якобы обнаруживших древний клад. Находки обошлись доверчивому любителю древностей в десять тысяч рублей. Крестьяне, «открывшие» клад, оказались подставными лицами. Следы вели к тем же братьям Гохманам.

Тревожным сигналом послужили и высказывания признанного авторитета в научной среде генерала Александра Бертье-Делагарда, русского ученого французского происхождения. Историк, археолог, непревзойденный нумизмат, в 1889 году он был избран вице-президентом Одесского общества истории и древностей и оставался им пожизненно. Вклад Бертье-Делагарда в изучение истории и древностей Тавриды поистине неоценим. Он был страстным коллекционером, до тонкостей знал золотые изделия древних ювелиров. В Эрмитаже не боялись заполучить подделку, если вещь осмотрел Бертье-Делагард.

Узнав в подробностях о приобретении Лувром тиары, он пишет в записках Одесского Императорского общества истории и древностей:

«Вероятно ли, даже возможно ли, чтобы ольвийцы осмелились грозному царю написать на лбу такую штуку? Поистине, подобная идея может прийти в голову только современному поддельщику». Когда же Бертье-Делагард побывал в Париже и осмотрел тиару, то его подозрения только укрепились:

«Я с особым удовольствием готов был бы признать свое мнение ошибочным, а тиару подлинною, но довольно тщательный осмотр не поколебал моего мнения. И мне остается сделать лишь следующее дополнение – работа тиары вообще превосходна, самого тонкого чекана и лучше, чем было все до сих пор виденное в поддельных вещах. Едва ли такой рисунок и чекан возможны в Одессе, так что поневоле приходится придать значение ходящим у нас слухам, указывающим на Вену как на место подделок». (А вот с Веной ува-

жаемый господин Бертье-Делагард ошибался...)

Резче всех выступил один из крупнейших исследователей своего времени – мюнхенский ученый Адольф Фуртвенглер. В августе 1896 года вышла его статья в журнале «Revue Cosmopolis», посвященная тиаре скифского царя. Он согласился, что тиара является произведением ювелирного искусства, но... не более того. И привел следующие доводы:

«Прежде всего, – объяснял Фуртвенглер, – всмотритесь в фигуры короны, в их движения, жесты, лица, одеяния. Разве это стиль античной пластики? Ведь это провинциальные актеры, подменяющие врожденную грацию и благородство древних героев театральным пафосом».

Но наиболее весомым аргументом ученого было то, что он нашел прототипы целого ряда персонажей тиары. Они оказались на произведениях разных эпох и из разных, зачастую весьма отдаленных друг от друга, мест. Например, на ожерелье пятого века до н.э., найденном в Тамани; на вазах из Южной Италии, на украшениях из Керчи, на так называемом щите Сципиона, хранящемся в Лувре; других изделиях античных мастеров.

Из истории было известно, что ольвийцы действительно откупались от воинственного Сайтоферна 900 слитками чистого золота. Но когда и этого показалось мало алчному скифу, греки вынуждены были укреплять стены своих крепостей, а не дарить тиару своему недругу.

В конечном итоге после всех критических замечаний Фуртвенглер так распалился, что, упрекнув ученых мужей в невежестве, пожелал им поскорей заменить находку настоящим греческим произведением искусства, а тиару предложил выбросить... в плавильную печь.

Фуртвенглера во Франции знали, и обойти его мнение молчанием было невозможно. Пытаясь, как говорится, сохранить честь мундира, против него ополчились хранитель Лувра Эрон де Вильфос и братья Рейнаки. Много остроумия и еще больше язвительности было в их споре с немецким ученым...

Тиара привлекла внимание общественности. 28 ноября 1896 года Паскаль Груссе, депутат от департамента Сены, сделал запрос в Национальном собрании: сомнительные вещи не должны покупаться и экспонироваться в Лувре. Результатов этот запрос не имел.

Постепенно споры и дискуссии улеглись, тиара продолжала изумлять своей красотой посетителей Лувра, и все бы позабылось, если бы...

Спустя семь лет после того, как тиара утвердилась в Лувре, произошло событие,

которое потрясло не только европейские, но и мировые музеи и научные центры, занимающиеся древними произведениями искусства.

20 марта 1903 года во французской газете «Le Matin» появилось сообщение, имевшее эффект разорвавшейся бомбы. Скульптор с Монмартра Эллина-Майянс, привлеченный к судебной ответственности за подделки картин художника Пийя, неожиданно заявил судебному следователю, что намерен отомстить «миру художественных экспертов, торговцев и антикваров» и разоблачить все подделки. Он сообщил курьезнейшие подробности о том, как пополняются коллекции меценатов. И не только. Даже в самом Лувре, по его словам, имеются поддельные картины и древности. Эллина заявил, что знаменитая тиара Сайтоферна является его творением, что он якобы в 1894 году изготовил золотую корону по заказу некоего господина Шпицера, уплатившего за нее четыре тысячи пятьсот франков.

«Наши национальные музеи вместо подлинных предметов искусства закупают подделки. Знаменитая тиара скифского царя Сайтоферна – тоже подделка. Я сделал макет этой короны, а золотых и серебряных дел мастер Бэрон сделал эту корону из чеканного золота под моим руководством».

Вот так конфуз!

Ученые Лувра поначалу встретили заявление скульптора снисходительными улыбками, заявляя, что Эллина – не более как мистификатор. Однако после ошеломляющего признания скульптор был вызван на допрос к следователю, где вновь подтвердил сказанное. Мастера Бэрона уже не было в живых. Встал вопрос о наложении ареста на тиару и проведении дополнительной экспертизы.

Разоблачительное письмо

23 марта 1903 года «Одесские новости» перепечатали из «Le Matin» письмо русского ювелира, жившего в Париже, Соломона Лифшица, главному редактору газеты. Лифшиц, живший прежде в Одессе, решительно оспаривал авторство Эллина-Майянса. Более того, он предал огласке имя главного персонажа этой детективной истории, настоящего автора тиары Сайтоферна. Им, поведал Лифшиц, является никто иной, как одесский золотых дел мастер Израиль Рухомовский, с которым он знаком лично. Вот фрагмент этого письма:

«Решаюсь писать вам в целях восстановления истины. Я могу вас уверить, что тиара была сработана моим другом Рухомовским. Мы познакомились в Киеве, затем встретились в Одессе, где я жил в 1895 году и до мая 1896 года. Я часто навещал моего друга и видел много раз, как он работал в своей мастерской над этой пресловутой тиарой, от начала до конца, и не подозревал тогда, что она произведет столько шума. Я очень хорошо помню греческую книгу, украшенную иллюстрациями, с которых были воспроизведены сцены, которые фигурируют на тиаре».

Вслед за сообщением Лившица парижские газеты опубликовали письмо бывшей одесситки госпожи Нагеборг-Малкиной, подтвердившей его слова.

Выяснилось, что на изготовление знаменитой короны у одесского самоучки (!) ушло восемь месяцев. И получил за нее этот виртуоз своего дела всего одну тысячу восемьсот рублей.

Что тут началось! Так опростоволоситься! Одесский ювелир обвел вокруг пальца Париж, да что там – Европу. Как такое было возможно?! Толпы любопытных осаждали Лувр, но злополучной тиары Сатоферна там уже не было. Сотрудники музея поспешили убраться «виновницу скандала» в запасники.

Между тем, французское правительство вынуждено было назначить специальную комиссию для расследования всех обстоятельств дела. Ее возглавил Шарль Клермон-Ганно, известный археолог, член Академии наук, профессор одного из старейших учебных заведений Франции «Колледж де Франс». В свое время, являясь французским консулом в Иерусалиме, именно Клермон-Ганно доказал, что глиняные моавитские «древности», найденные на юго-востоке от Мертвого моря, – не что иное, как бесстыдная подделка.

А Париж бурлил, плакал и смеялся, расколовшись на два лагеря – «сайтофертистов» и «антисайтофертистов». Имя одессита было у всех на устах. Парижан волновал вопрос – в Париже или в Одессе была сфабрикована «древняя» тиара и как ее теперь называть: «Tiare de Monmartre, Paris ou Tiare de Odessa»?

Газетчики, наперебой изощряясь в сарказме и острословии, ринулись в Одессу. Они нашли мастера. Рухомовский, чье имя было у всех на устах, оказался немногословным человеком небольшого роста, с редкой растительностью на лице и темными, так, что глаз не было видно, очками. Жил он в более чем скромной квартирке на третьем этаже, под самым чердаком, дома Якобсона №36 по Успенской улице. Стены маленькой комнаты были увешаны множеством рисунков, снимков, фигур и форм. Сюда-то в 1903 году и началось настоящее паломничество.

Homo incognito

Так кто же он такой – Рухомовский, этот одесский гений?

Я думаю, уважаемый читатель, что вы ближе познакомитесь с Израилем Рухомовским, если удастся найти и прочесть его мемуары «Моя жизнь и моя работа», написанные в 1927 году в Париже на идиш и позднее переведенные на русский. Ну, а пока сообщу некоторые интересные сведения о его жизни.

Он родился в 1860 году в Мозыре в ортодоксальной еврейской семье. У ребенка с детства проявился талант к искусству. Он самостоятельно овладел граверным и ювелирным делом. Его приняли в одну из лучших ювелирных мастерских Киева. Ему доверяли выполнять самые изящные работы для утонченной публики.

Он женился. В 1893 году молодые супруги обосновались с детьми в Одессе. Вот как вспоминает этот период своей жизни будущий творец тиары:

«Одесса славится как город бездельников, где царствует ад. Но я уже тогда не слишком страшился ада. Город большой и требующий больших денег. Главное, что Одесса – город еврейский с замечательными школами, значит дети смогут получить пристанище и достичь желаемого».

Переехав в Одессу, Рухомовские сначала поселились в гостинице на Екатерининской улице, затем сняли двухкомнатную квартиру на Ремесленной улице в доме №6. Одну из комнат оборудовали под мастерскую. Квартира находилась недалеко от Бродской синагоги, и Рухомовский за три рубля купил себе место у дверей, где молились бедняки. Заявить о себе как о хорошем специалисте новичку в Одессе было непросто. Нужен был аттестат, да где его взять, если Израиль был самоучкой. Пришлось держать экзамен. Он сделал отличную гербовую печать, получил аттестат подмастерья и пошел работать гравером на фабрику жестяных изделий и французской ваксы в Одессе «Жако». Постепенно талант и упорство сделали дело. Умелец из Мозыря вскоре добился известности и завоевал авторитет ювелира-чеканщика. Слава об искусном ювелире распространялась довольно быстро. Рухомовский научился артистически подражать и изготавливать «шедевры» по старинным образцам и оригиналам. К нему стали обращаться с заказами крупные фирмы. Но они ставили условием, чтобы не было никакого упоминания имени автора. Его, как и многих других способных мастеров, эксплуатировали, пользуясь его талантом.

Вот тогда-то к нему впервые явился с заказами изделий под старину житель Очакова Шепсель Гохман, главным занятием которо-

го была торговля древностями. Он быстро разобрался, что золотых дел мастер Рухомовский – мастер от бога, и при этом весьма скромный и наивный человек. Это очень устраивало предприимчивого коммерсанта, ведь Рухомовский самостоятельно выполнял работу художника, ювелира, чеканщика, гравера.

Редкий случай, когда человек мог все...

И в 1895 году последовал заказ на изготовление золотой тиары. Восемь месяцев упорного труда, и тиара была готова. Гохман забрал заказ и заплатил мастеру тысячу восемьсот рублей...

Рухомовский был несказанно рад: «Впервые в моей жизни я сразу получил столько денег. Вместе со сбережениями у меня стало три тысячи рублей. Значит, я почти богат!..»

Когда разразился скандал, и газетчики наперебой атаковали Рухомовского, он по поводу авторства отвечал уклончиво: «Талмуд говорит, что для каждого человека в свое время наступит его час. Для меня мой час наступил теперь. Я получил несколько телеграмм с предложением приехать в Париж от таких редакций, как «Figaro», «Matin», «Petit Journal» и многих других. Я не отрицаю своего участия, но вместе с тем не могу подтвердить, что эта тиара – та самая, которую делал я».

Короче, «может, я, а, может, и нет».

Звездный час

Ювелир выразил готовность приехать в Париж, чтобы удостовериться, что это «его» тиара, и представить доказательства своего авторства, но при одном условии – если ему дадут средства на поездку в размере 1200 франков. Рухомовского вызвал к себе французский консул в Одессе и выделил деньги на поездку, но тоже поставил условие: «Никто не должен знать, что вы едете в Париж».

Однако газета «Одесские новости» оповестила горожан о планах Рухомовского и привела дословно слова ювелира по этому поводу: «На этих днях я выезжаю в Париж, по собственному моему желанию, когда увижу тиару, тогда все кому следует расскажу...»

Выполняя условия Лувра и французского консула, из Одессы выехал Израиль Рухомовский, а во французскую столицу въехал господин Барде (Бардес?). Вещи таинственного господина отправили как дипломатический багаж. А с него взяли слово, что он не будет иметь никаких контактов с прессой.

И вот 5 апреля 1903 года Израиль Рухомовский инкогнито ступил на землю Парижа. Ювелир вез с собой в качестве доказатель-

ства модели, рисунки и формы тиары. Кроме того, по просьбе Рухомовского в Париж были высланы некоторые его работы: маленький медальон – шедевр, принадлежащий директору фабрики жестяных изделий и французской ваксы в Одессе «Жако», два драгоценных дворянских герба из золота и серебра, барельеф-портрет, отчеканенный из золота и четыре сионистских жетона художественной работы.

Одесский чеканщик под чужой фамилией поселился в отеле «Централь». Его принял французский министр просвещения и искусства. Далее он посетил министерство иностранных дел, где получил пакет с документами по тиаре, и только затем отправился в Лувр.

Расследование проводилось в изолированной комнате Лувра под руководством Клермона-Ганно. Несколько дней прошли в непрерывных вопросах и ответах. Но вездесущие газетчики очень скоро нашли Рухомовского. Факт прибытия одесского ювелира в Париж стал известным. Гостиницу буквально осаждали толпы корреспондентов, охотников за автографами и просто любопытных зевак. Его портреты появились во всех французских газетах.

Каждый шаг чеканщика фиксировался неусыпными журналистами и предавался огласке:

«Г-нь Рухомовский значительную часть дня проводит в Лувре, где ведется следствие по поводу тиары. Остальное время Рухомовский проводит в осмотре художественных сокровищ и произведений искусств национального луврского музея. В письмах к родным г. Рухомовский не находит выражений для своего восторга перед тем, что в столице мира и ее художественных галереях открылось глазам талантливому гравера, прозябавшего до сих пор в Одессе». («Одесские новости» от 22 апреля 1903 г.)

Когда дотошные репортеры стали расспрашивать ювелира о предстоящем расследовании, которое Клермон-Ганно держал в строжайшей тайне, Рухомовский неожиданно ответил: «Это не искусство, это мелочь, это ничего... Видели бы вы мой саркофаг!» Так родилась новая тема разговоров с репортерами.

Знаменитый саркофаг со скелетом автор называл «шедевром своей жизни». Изготовление саркофага явилось следствием тяжелой болезни, которую перенес Рухомовский. Свои мысли о бренности земной жизни и земного счастья, что «суета сует – все суета», и все, что он передумал и перечувствовал за время болезни, он выразил в этой работе, занявшей несколько лет.

Трудно описать это чудо тончайшей техники, филигранного искусства из золота и серебра.

«Лавры» победителя

Но вернемся к тиаре. Расследование проводилось комиссией около двух месяцев. Рентген-анализов в то время еще не проводили. И от Рухомовского требовали очевидных доказательств его авторства. Как выяснилось на первом «допросе», Рухомовский мало что смыслил в античной археологии. Тогда члены комиссии, не показывая мастеру тиару, предложили на память повторить какой-нибудь ее фрагмент. Наблюдать за этим процессом в Лувр пригласили известных археологов, лучших ювелиров, ученых.

Вот как вспоминал эту проверку сам Рухомовский:

«Еще не видя самой тиары, я этим господам описал ее самым подробнейшим образом, указав все изъяны, специально мной сделанные; представил фотографические снимки, которые заказал в Одессе после того, как ее изготовил; представил даже гипсовые модели горельефов, указав при этом, в каких именно книгах они помещены. Я, наконец, по их требованию выписал из Одессы свои инструменты и у них на глазах этими инструментами точнейшим образом воспроизвел один из рисунков на тиаре. И всего этого этим господам мало! Неужели я должен сделать новую тиару, чтобы они поверили? Я сомневаюсь, впрочем, что эти господа и тогда убедятся – по той простой причине, что они просто не хотят быть убежденными».

На глазах пораженных членов комиссии Рухомовский отчеканил часть фигурного фриза, которая оказалась полностью идентичной фрагменту у тиары. А потом точно назвал старинный рецепт металлического сплава, из которого сделана тиара. После этого «следственного эксперимента» комиссия признала: автор тиары – одесский гравер, и представила министру изящных искусств Франции доклад, в котором в самой категорической форме выразила свою убежденность в поддельности тиары. Экспертизу посчитали оконченной.

Дар ольвийских греков скифскому царю оказался изделием одесского резчика виртуоза Израиля Рухомовского.

Несколько месяцев подряд в Париже не проходило и дня без сообщений в прессе, статей, карикатур и даже процессий студентов-художников по улицам города, связанных с фальсификацией в Лувре. Насмешливые парижане в кабаре, а за ними и все уличные мальчишки задорно распевали веселые куплеты о царской короне и ученых мужах, севших в калошу. В продажу даже поступили открытки с юмористическими изображениями и стихами, посвященными археологической мистификации.

Газета «Одесский листок» от 12 апреля 1903 года сообщает: «Один из парижских ювелиров с Больших Бульваров предложил Рухомовскому сто тысяч франков за право выставить его имя на вывеске своего магазина».

Какой-то богатый импресарио предложил двести тысяч франков за турне Рухомовского по Америке, конечно, вместе с тиарой Сайтоферна. Единственное условие, которое поставил бизнесмен, была гарантия, что он имеет дело с «настоящим фальшивым» произведением.

А американский музей Барнума и Ашлея, по сообщению немецкой газеты «Berliner Tageblatt», предложил французской казне 250 тысяч франков за тиару, если она действительно окажется поддельной! Если же ученые расследования все-таки докажут ее подлинность, то она никакой ценности для Барнума не представляет, и они охотно оставляют ее Лувру. Что ж, возможно, это была газетная утка.

Не упустила такого беспримерного повода позабавиться и сама Одесса. Вот какой стихотворный опус был опубликован в те дни в «Одесском вестнике»:

*«Какой скандал! Весь новый свет
Взволнован беспримерно,
И воспевает хор газет
Тиару Сайтоферна.
Большой скандал в Европе всей
Наделал много шуму:
Дал за тиару Лувр-музей
Громаднейшую сумму.
И вслед за ней молва пошла,
Раздался голос прессы:
Тиара сделана была гравером из Одессы.
Скандализован Париж,
Краса земного шара.
Сгубила Лувру весь престиж
Поддельная тиара.
Какой скандал! И как тут быть,
Вопяť археологи,
Вконец нас могут погубить
Подобные подлоги».*

А что же художник с Монмартра, с которого и начался весь сыр-бор? Долго меняя показания и окончательно в них запутав-

пись, Эллина, наконец, вынужден был признаться, что лгал и никакого отношения к тиаре не имеет.

Газета «Eclair» напечатала письмо Эллина-Майянса, в котором тот признался, что свое заявление сделал ради шутки, но надеется, что ему эту шутку простят, хотя бы ради той истины, которую ему косвенно удалось открыть. Суд не смог привлечь к ответственности монмартрского лгунишку. Он удостоился лишь насмешек своих сограждан.

Шепселя Гохмана «афера века» сделала скандально известным, что не отразилось, однако, на его доходах. Клиентами фирмы братьев Гохманов по-прежнему оказывались частные коллекционеры (по большей части из США), а также музеи России, Германии, Франции, Англии, Греции, Италии. «Товар» поставлялся через подставных лиц. Гохман готов был назвать «действующих лиц» истории с тиарой, а также пролить свет на происхождение других «древностей», но при условии полной гарантии, что его не привлекут к ответственности. В противном случае он собирался выждать, когда истечет десятилетний срок давности. Фогель и Шиманский предпочли скромно держаться в тени.

А сам Рухомовский перед правительственной комиссией не стал упоминать имя инициатора этой аферы. Он лишь поведал туманную историю о неизвестном господине из Керчи, заказавшем ему тиару якобы в качестве юбилейного подарка какому-то видному ученому-археологу. Этот же заказчик будто бы снабдил Рухомовского необходимым «подручным материалом»: всемирно известными «Русскими древностями» Толстого и Кондакова, атласом к «Древней истории» Вейссера, репродукциями со щита Спициона, гравюрами Джулио Романо с фресок Рафаэля. Из этих источников и черпал Рухомовский сюжеты для создания своего шедевра.

Вот что писала петербургская газета «Новое время» 7 мая 1903 года:

«О Рухомовском говорит весь Париж, печатают его портреты, его зовут в компаньоны известные купцы, его произведения принимают в Салон и становятся приманкой для толпы, его провозглашают чуть ли не современным Бенвенуто Челлини! Это сказка из «Тысячи и одной ночи». Но мораль ее так не моральна, что может привести в уныние кого угодно. В самом деле, что это такое! Пока человек честно и с любовью трудился, на него никто не обращал внимания. А сделал подделку, и земные блага посыпались на него, как из рога изобилия. Между тем, обрати люди вовремя должное

внимание на этого даровитого самоучку, из него вышел бы выдающийся художник. Теперь, боюсь, он не сделает другого шедевра, кроме поддельной тиары Сайтоферна...»

А что же сама тиара? Нет, она не пылилась в запасниках, а была передана из зала античного в зал современного искусства, на ней было выгравировано: «Сделал Рухомовский» (fecit Ruchomovsky).

В Париже с прославившимся одесским чеканщиком пожелал встретиться коллекционер старины и очень богатый человек Рейтлингер. Он поинтересовался у Рухомовского, что еще тот сделал кроме тиары.

«Колье с мифологическими сценами, статуэтку «Ахиллес и Минерва», золотую вазу, из которой два скифа пьют вино..., – стал перечислять ювелир.

«Не могли бы вы нарисовать их?»

Рухомовский не заставил себя долго упрашивать и стал рисовать перечисленные предметы. Рейтлингер побледнел. Оказалось, все это коллекционер приобрел как археологические находки. 26 мая 1903 года открылся Парижский салон декоративных искусств. Там и были выставлены шедевры из собрания Рейтлингера и работы Рухомовского, доставленные через дипломатическую почту в Париж из Одессы. Общество французских деятелей искусств наградило Рухомовского медалью третьей степени.

Но главной сенсацией салона стал привезенный Рухомовским в Париж миниатюрный «саркофаг со скелетом». Вот как описывали это событие парижская «Le Matin» и «Одесские новости»:

«Рухомовский счастлив. К нему все тянутся. Вчера это неизвестный труженик, живущий в степях на Черном море с заработком в 50 копеек в день, тридцать пять су. Сегодня он знаменит, принят Парижем, им восхищаются, его лелеют...

Он великолепен, его саркофаг.... Из него бы получилась превосходная спичечница. Тем более что он изображает изменчивую судьбу человека. Спичка – это символ. Немного огня, немного золы, вот и все. На крышке саркофага представлен персонаж в длинном одеянии с косой на плече. За ним – целая процессия людей. Сначала полный мужчина в черном костюме и высокой шляпе, потом элегантные дамы с перьями на шляпе, мужики, оборванцы, калеки, сеньоры.

На сторонах саркофага шесть миниатюрных сцен отображают человеческую жизнь с детства и до смерти. Поднимая крышку, видим золотой скелет, искусно собранный. Коробка украшена цветами, гирляндами, черепами, выполненными с большим изяществом.

Давайте поздравим Рухомовского за его талант и за его порядочность. Он мог бы заставить нас поверить, что эта вещь была найдена в могиле восьмого века до нашей эры в Ялте. Мы бы за нее очень дорого заплатили, а археологи сделали бы ученые сочинения о костюме скифов во времена Навуходоносора. Очень вероятно, что после этой чудесной вещи остальная часть салона вам покажется бледной...»

В ореоле славы

В 1903 году Париж тепло проводил гостя. Рухомовский вернулся к себе на Успенскую улицу.

Одесса шумно встретила нашего героя. Репортеры не отставали ни на минуту, писали о нем всякие были и небьлицы.

Творчеству прославленного необычным образом соотечественника был посвящен иллюстрированный критико-биографический очерк «Израиль Рухомовский и его работы», выпущенный в Одессе издателем Сапожниковым в его «Коммерческой типографии». Брошюра вышла ограниченным тиражом и скоро стала редкостью.

Посыпались заказы. Но ювелир понимал, что горячая пора скоро пройдет. Разве ценили его прежде, до скандала с тиарой?

«Так, из неизвестности, уже в зрелом возрасте, проявился талант-самородок. Где же до сих пор были одесские археологи и ценители искусств, в холодные аристократические двери которых напрасно и робко стучался скромный, низенького роста, человек в темных очках? Необходим был всемирный скандал, чтобы люди могли оценить в Рухомовском то, что даровала ему судьба». («Одесские новости»).

В думах и работе шло время. Но после известных событий 1905 года Рухомовский все чаще задумывается о Париже. И в 1909 году со всей семьей покидает Одессу.

В Париже, куда он эмигрировал, в первое время небольшие заказы поступали от случая к случаю. Он сделал еще несколько тиар меньшего размера в подарок своим детям, они не потеряли ни одной детали (размер тиар 1,5-2 см). Вскоре его работы стали успешно экспонироваться в Салоне французских художников, откуда отправлялись в Женеву, Берлин, Нью-Йорк. Рухомовский устроился работать в реставрационных мастерских при Лувре.

Профессор Клермон-Ганно представил одесского чеканщика банкиру и филантропу барону Эдмону Ротшильду. Своеобразной проверкой для Рухомовского стал его заказ – изготовление пьеде-

стала для древнегреческого флакона. Ротшильд остался доволен работой, и заказы пошли за заказами. Рухомовский писал: «Счастье улыбнулось мне. Словом, повезло. Я получил хорошего клиента, а Ротшильд – хорошего мастера. Мы нашли друг друга: он – красивую работу, а я – хороший заработок».

Израиль Рухомовский был счастливым отцом и дедом. Он гордился, что сын Соломон превзошел его в мастерстве, что развились таланты Якова и Леона, других детей и внуков, ставших известными ювелирами, художниками, литераторами. Сегодня потомки Рухомовского живут во Франции, Израиле, США, Германии, Аргентине.

Его ювелирное искусство получило широкое признание. Кроме Лувра, работы Рухомовского имеются во многих музеях мира, в частных собраниях Европы и Америки и иногда появляются на престижных аукционах Лондона и Парижа. В иных условиях он был бы не менее знаменит, чем великий Фаберже.

Израиль Рухомовский умер в Париже в 1934 году.

АЛЕКСАНДРА ГОВОРОВА

ЛИРИКА

Зачем кривить душой?

Пекучий лед, искристый жар – две стороны медали,
Безумие тоски, безумие страстей – их отличишь едва ли.
Мгновенье краткое длинной бывает в вечность,
Бесславный жизни путь – секунда, блик, беспечность.
Порой мы ненависть любовью обратим,
А нежный дар любви враждою окрестим,
На горькое мы скажем - сладости Востока,
И близкое нам вдруг покажется далеким.
«Прощай!» - мы скажем, а «люблю» хотим,
«Да, я с тобой», а в мыслях прочь бежим.
Поем беззвучно и недвижимо танцуем,
Без кисти и палитры мы рассвет рисуем.
Смеемся часто со слезами на глазах,
И средь снегов купаемся в цветах...
Зачем кривить душой, коль миг всего мы здесь
В гостях у Мира. Встретив у порога, не дав присесть,
Он каждого ведет его одной, той жизненной тропой,
Ее зовем судьбой. Зачем кривить душой?

Вечная книга

Если станет тебе одиноко,
Обращайся ко мне за советом,
Ведь живу я совсем недалеко
И сияю звездой для поэтов.
Если все в твоей жизни не те,
Ты не жди от них праздной улыбки,
Возвращайся скорее ко мне,
Гордым будь и не делай ошибки.

На безлюдном твоём острове
Пусть появятся наши отцы –
В суетливом, унылом мире
Они были одни, как и ты.
Они станут с тобой говорить,
Ты читай жизни их со страниц.
Мысль твоя пусть тогда воспарит
В те миры, что не знают границ.

В этом мире иду по пятам
За тобой, неприметная с виду,
Но зато никогда не предаю –
Твоя верная, Вечная Книга.

Одиночество

Мне бы просто постоять,
Прислонившись к клену,
С ним единым целым стать
В тихой ночи пору.
Надоело догонять
Счастье легкой тенью,
Захотелось помечтать
Под кленовой сенью.
Помечтать и, может быть,
Возродиться к счастью,
Листопадом закружить,
Все презрев ненастья...
Не дано мне пролететь
Городом осенним,
С высоты бы поглядеть
На родные земли.
Слишком тяжела печаль –
Не пускает в небо,
Только жизни очень жаль,
Что прошла бесследно.
Но лишь клену я могу
Доверять секреты,
А когда совсем уйду,
Он расскажет ветру.
Пусть прошепчет ветер всем,
Кто узнать захочет,

Как я жил, как и зачем
Слушал клена шепот.
Одинокою душой
Заплутаю в кроне,
Жажду утолю дождем,
Стану юным кленом.

Когда душевные порывы
Заверчены в резьбу тугую,
Тогда с зеленым словом «ива»
Рифмуют «речку голубую».
Когда слеза блестит тугая
И взгляд застыл, мечту лелея,
Тогда «копна волос седая»
Рифмуется со словом «время».
Когда забьется чаще сердце,
Поспорив со вселенской скукой, -
Тогда с железным словом «рельсы»
Рифмуют грустное – «разлука».
Когда и плакать, и смеяться,
И покраснеть ничуть не стыдно,
Тогда с обманчивым «влюбляться»
Рифмуется «там будет видно»...

Бетон, стекло, железо,
Пластмасса, сажа, ртуть...
Вот если б кто-то жезлом
Волшебным мог взмахнуть, –
Из города, из плена
На крыльях унести
Куда-то вдаль от тлена,
В обитель чистоты.
Хочу дышать я полем
И с радугой играть,
Общаться с лесом словом,
Шум моря понимать.
Хочу за стаей ранней
За горы улететь,

ЛИРИКА

Хочу луны сиянье
Сквозь ветви разглядеть.
Хочу на желтых листьях,
Уснувших в рюкзаке,
Писать дубраве письма
На нежном языке.
На берегу пустынном
Хочу весь день сидеть,
В осеннем свете дивном
Очнуться и прозреть.

Александра Говорова родилась в Киеве. Магистр иностранной филологии. Год училась в городе Мец (Франция), знакомилась с методами преподавания русского иностранцам в швейцарском Фрибурге. Много путешествовала по Европе по волонтерской линии.

Сейчас живет и работает в Нью-Йорке.

Эта подборка стихов – первая публикация Говоровой.

ВЛАД ТОЛМАЧЕВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Памяти поэта Виктора Урина

“В те дни когда...”

А. С. Пушкин

В институте “МакДональдс” на кафедре “Фултон стрит”
В аудитории, где разрешалось курить,
Где вечерним, заочным, сверхсрочным был факультет
Я учился поэзии – юноша в тридцать лет.

Мой голодный профессор рассказывал всё, спеша.
Искалечены руки войной, но жива душа.
Я ловил, задыхаясь, хорей и ямб на лету
И отхаркивал образ – если не вмоготу.

Мы искали в шипении соды искристый ритм,
Мы хрустели картошкой поджаренных, сочных рифм,
И богини Олимпа на кончиках сигарет
Вылетали дымком в небоскребный январский свет.

И когда запах хлорки пронзал мясной фимиам,
Баба Таня гнала нас домой к неразгаданным снам.
В общежитии, в келье, в пустыне, в нетленной стране,
Моя муза, одернув подол, улыбалась мне...

Пуговица

Как швея, ты метала точно,
Но потом затаилась воровкой.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

к тебе пришит, привязан, пристрочен
Черной ниткой любви, паутиной, веревкой.

Вхожу в эту щель, в эту петлю и прорезь,
В губ твоих неизбежность – острых и тонких,
И когда тонет в них мой дырявый голос,
Ты смеешься семнадцатилетней девчонкой.

Ты меня оторвешь, отстегнешь, отрежешь,
Выбрешь с мясом и выкинешь на рассвете.
Каждый год мелькать буду реже
В мишуре, в иголках и в детях.

Мороза запах и хурьмы
Январь без снов
Сдал геометрию зимы –
Пяти Углов.

Мне ангел двушку разменял
На пункте “Б”.
Стою на линии огня –
Звоню тебе.

И к уху автомат прижав –
Спас На Крови,
Я застреваю в падежах
Своей любви.

Пусть сердце слеплено в снежок
Глухим “пока”,
Я отогрею твой смешок
Наверняка.

Канала битое стекло
Наискосок.
И ночь цедит из куполов
Вишневый сок.

Пенсильвания

Мокрое платье дождя
Ветром прибито к холмам,
И дребезжит на столе
Миска немойтой луны.

Твой нескончаемый лес
Полон печальных огней.
Чем же тебя приручить?
Как приласкать твою грусть?

Это мечта и кошмар,
Это звериная страсть,
Необъяснимая масть,
Невыносимый загар.

Утро виляет хвостом,
Тычется светом в лицо.
Озеро. На поводке
Голубоглазый туман.

Музей Пикассо

1

Трехмерность мира во мне обузой,
А жизнь расплющена и цветаста –
Пятно лимона в мазке арбуза
Застыло светом – желтком пространства.

2

Черных дыр приоткрыты ставни,
Где проступают в штрихах кентавры,
форму женщин приняв, сосуды
Готовы кровь лить так безрассудно.

3

Среди кентавров нашел Пегаса:
Пик Асса
Он рифмовал
С Пикассо.

4

И я бросаюсь в звучанье сада,
Там струны – ветки баллад гитарных,
Частиц кубизма элементарных
И вдохновенье – продукт распада.

Кармен

Ты причитала: Падре
Ты ужасалась: Плохо
Ты рассыпала пудру
Как рассыпают порох

Ты открывала гильзу
Ты заряжала губы
Ты поражала гулко
Из амбразуры глаза

Ты обернулась черным
Ты подчинила жесту
Ты поправляла челку
Будто крестила жертву

Влад Толмачев родился в 1962 году в Ленинграде. Учился в Кораблестроительном институте.

В США с 1981 года. Окончил Нью-Йоркский университет по специальностям “Экономика” и “Программирование”. Работает специалистом в области информационных технологий.

В Америке поэтическим наставником Влада был известный поэт В.А.Урин.

Толмачев публиковался в газетах и журналах США и России.

Книги стихов: "Второе Начало"(1990), "Под Куполом Карусели"(1993) (Второе издание в г. Санкт-Петербург. 1995).

Новая книга стихов "Губы Из Крем-Брюле" вышла осенью 2013 года.

СЕМЕН РЕЗНИК

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Академик Ухтомский и его биограф

*Историко-документальная сага
с мемуарным уклоном*

От автора

Я очень люблю читать мемуары, но никогда не задумывал их писать. Видеть в себе центр вселенной, упиваться собственными доблестями – это не по моей части. Как один из главных героев этой саги, академик Ухтомский, я не очень люблю людей, замкнутых на себе. Мне симпатичны люди, стремящиеся вылупиться из собственной скорлупы, смотрящие на мир широко открытыми глазами, впитывающие его в себя не для того, чтобы уложить в прокрустово ложе своих сложившихся представлений, а чтобы подвергнуть эти представления ревизии, а если нужно, то и коренному пересмотру. Тем не менее, перелистывая свои книги последних 10-15 лет, я, к собственному удивлению, наталкиваюсь на мемуарные вкрапления. Впрочем, они попадали в текст ненамеренно, почти помимо авторской воли, и играли всегда подчиненную роль.

В моей новой книге мемуарная составляющая вполне осознана, но тоже остается подчиненной. В основе саги об Ученике и Учителе лежат материалы, заимствованные из трех блоков источников: 1) из моей переписки с учеником Ухтомского, историком физиологии В.Л. Меркуловым, которую я считал утерянной, но случайно обнаружил в своей собственной архиве; 2) из научных трудов, писем, дневников академика Ухтомского, воспоминаний о нем и других связанных с ним материалов (большая их часть стала доступна лишь в последние годы) и 3) из разных сопутствующих материалов, включая то немногое, что сохранила моя память.

Вылепить из этих документальных блоков живые характеры

героев повествования, развернуть их жизнь и судьбу в тесном переплетении с турбулентной, изобиловавшей катаклизмами эпохой оказалось гораздо сложнее, чем я ожидал. Ни одна моя книга не рождалась в таких муках, как эта, хотя почти половину ее языкового пространства занимают цитаты, порой довольно обширные. Для меня было важно, чтобы персонажи говорили своими собственными голосами.

Что из этого получилось – судить не мне. Нахожу себе только одно оправдание: эту сагу было трудно, зато очень интересно писать. И сейчас, когда поставлена последняя точка, мне жаль с ней расставаться. Я сознаю, что многое в ней недосказано, недопонято, недотянуто. Но – дело сделано. Корабль поднял паруса и отправляется в свободное плаванье.

Вниманию читателей журнала «Время и место» предлагается три главы из 24-х. В полном объеме сага будет опубликована в толстом литературном журнале «Мосты» (Франкфурт-на-Майне) и в сетевом журнале «7 искусств».

В.Л. Меркулов: первое знакомство

С Василием Лаврентьевичем Меркуловым я впервые встретился в апреле 1972 года – на симпозиуме по проблемам биографии творческой личности, организованном под эгидой Института истории естествознания и техники (ИИЕиТ). Не могу вспомнить, где он проходил. Почему-то кажется, что в Доме ученых на Пречистенке, рядом со станцией метро «Кропоткинская», но не могу поручиться. Помню просторный светлый зал с высоким лепным потолком и большими сводчатыми окнами.

К началу я сильно опоздал и вошел посреди чьего-то доклада. Задержался в дверях, бегло оглядел зал. Глаз тотчас выхватил художавую фигуру Юрия Ивановича Миленушкина, заведующего кабинетом истории в Институте микробиологии и эпидемиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Он скромно сидел в одном из задних рядов и с напряженным вниманием слушал докладчика. Рядом с ним сидела смуглолицая Нина Георгиевна Григорян – ее специальностью была история физиологии. С ней я едва был знаком, но мне пришлось читать ее статьи – содержательные, но пресноватые, всегда идеологически «правильные».

Ю.И. Миленушкина я знал в связи с моей работой над книгой о Мечникове, тогда еще не завершенной. Историей микробиологии он занимался давно, был автором нескольких биографических очерков об ученике Мечникова Н.Ф. Гамалее, были у него публика-

ции и о Мечникове. Я пару раз был у него в институте, беседы с ним были полезны, но протекали формально, хотя внешне доброжелательно. У меня было ощущение, что Миленушкин воспринимал меня настороженно, как чужака, вторгшегося в его вотчину. Опыт учил держаться от таких доброжелателей на расстоянии и стараться, чтобы рукопись не попала к ним на рецензию. После выхода книги пусть говорят и пишут, что угодно, а до выхода давать им свой текст на суд и расправу рискованно!

Пригнувшись, чтобы никому не мешать, я тихо прошел по проходу и сел на свободное место во втором или третьем ряду.

За столом президиума, покрытого, как полагается, зеленым сукном, председательствовал директор ИИЕиТ академик Б.М.Кедров. Он выглядел еще более обрюзгшим и постаревшим с тех пор, как я его видел. Рядом – его заместитель и верный Санчо Панса, членкор С.Р. Микулинский, совершенно не меняющийся. (Через два года, когда Кедров уйдет с поста директора, его место займет Микулинский).

С Семеном Романовичем я был знаком уже без малого десять лет. Впервые я пришел к нему, когда стал работать в редакции серии ЖЗЛ, где мне был поручен раздел книг об ученых. Заведующим редакцией тогда был Юрий Николаевич Коротков. У него возникла идея придать отбору героев для наших книг некую систему, чтобы за обозримый период времени, допустим, за пять лет, дать круг чтения по всей мировой истории и культуре. Из моря имен выдающихся личностей следовало отобрать 120-150 с таким расчетом, чтобы охватывались основные исторические эпохи, все крупные страны мира или хотя бы регионы, основные области культуры. Ученых-естествоиспытателей в этом списке должно было быть примерно 30-40, они должны были представлять развитие основных разделов науки: физики, математики, химии, биологии, наук о Земле и т.д.

Сразу скажу, что из этой затеи ничего не вышло и, по-видимому, не могло выйти. Написание полноценной научно-художественной биографии – задача слишком сложная, чтобы производство таких книг можно было поставить на поток. На некоторые темы найти подходящего автора было вообще невозможно, другой автор зянет работу на десять лет. Когда я пришел в редакцию, работа по составлению перспективного плана уже велась, и я должен был в нее включиться. Списки наиболее крупных ученых по разным разделам науки уже были подготовлены, но это было самое простое. Главное состояло в том, чтобы по каждому разделу из десятков

имен выбрать пять-шесть наиболее, как сейчас говорят, знаковых. Произвол требовалось свести к минимуму, поэтому приходилось консультироваться с видными специалистами по каждому разделу науки.

Семен Романович Микулинский, доктор наук, специалист по истории биологии, тогда только что стал заместителем директора ИИЕиТ. Институт располагался в старинном здании в центре Москвы, недалеко от Лубянки. Микулинский принял меня в своем кабинете. Ему тогда едва перевалило за сорок, но по виду трудно было определить его возраст. Черноглазый и черноволосый, с волнистой, аккуратно уложенной шевелюрой на косой пробор, подтянутый и хорошо сложенный, он выглядел бы молодым и энергичным, если бы не вялое рукопожатие и усталое, какое-то помятое лицо с темными набрякшими подглазьями. Одетый с безукоризненной аккуратностью, он скорее походил на добросовестного службиста, чем на ученого. Таким я увидел его при первом знакомстве и таким он оставался потом на протяжении многих лет.

Не помню, чтобы он предложил коррективы к наметкам нашего плана. Но он заметно оживился, увидев в списке биологов имя Николая Ивановича Вавилова.

В научных и околонаучных кругах это имя было своего рода паролем. На сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» – оно давало однозначный ответ. Великий растениевод и генетик был затравлен «колхозным ученым» Т.Д. Лысенко, арестован и погиб в заключении. Труды его были изъяты из библиотек, имя нигде не дозволялось упоминать. После смерти Сталина он был реабилитирован (потому и мог быть в нашем списке), но генетика оставалась «буржуазной лженаукой», поганым «мендлизмом-вейсманизмом», «служанкой ведомства Геббельса». Широкой публике имя Николая Вавилова было почти неизвестно – в отличие от его брата Сергея Вавилова, крупного физика, президента АН СССР.

Микулинский сказал, что книгу о Николае Ивановиче Вавиллове надо издать в первую очередь, и подчеркнул, что это особенно важно. О том, что вскоре я сам приступлю к книге о Вавиллове, я не подозревал и ответил, что найти автора для этой темы не просто: большинство писателей, писавших о биологах и селекционерах, пели осанну Лысенко, привлекать их для написания книги о Вавиллове было бы кощунством. При этих моих словах Микулинский как-то сник; мне стало ясно, что я сболтнул лишнее: ведь Лысенко был еще в полной силе. После паузы, глядя куда-то в сторону, Микулинский совсем другим тоном сказал:

– Это не так просто, у академика Лысенко есть заслуги...

Я понял, что имею дело с очень осторожным дипломатом.

После падения Хрущева (октябрь 1964-го) Лысенко перестал быть неприкасаемым, и в считанные недели от всего «мичуруинского» учения, лидером которого считался Лысенко, не осталось мокрого места. Микулинскому уже не надо было дипломатничать. Но вкрадчивая осторожность проявлялась во всем его облике.

Но вернусь к симпозиуму. Докладчиков объявлял Микулинский. Он и назвал имя Василия Лаврентьевича Меркулова, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника Физиологического института им. академика А.А.Ухтомского при Ленинградском университете.

К трибуне докладчик двигался медленно, тяжело, опираясь на костыли, рывками перебрасывая грузное тело. На трибуне он долго прилаживал костыль, продолжая опираться на другой; неловко перебирал бумаги свободной рукой. Это был пожилой человек, с большой головой, увенчанной редкой сединой, с простецким почти крестьянским лицом и неожиданно яркими живыми глазами. Заговорил он тоже неожиданно бодрым, густым баритоном.

Текст его доклада «О трактовке мотивации творчества отечественных натуралистов» опубликован в изданной по следам симпозиума книге «Человек науки»¹. Я его внимательно перечитал и убедился, что напечатанная версия значительно пригладжена. Автору пришлось кое-что притушить и кое-что вписать «для порядка», чтобы не дразнить гусей, на чем, надо полагать, настоял научный редактор сборника М.Г. Ярошевский, с которым, как я потом узнал, Меркулова связывали многолетние сложные отношения. Ядро первой половины доклада состояло в том, что «мотивацией» исследований Ивана Петровича Павлова служили в основном труды французского физиолога XIX века Клода Бернара. В подтверждение Меркулов сопоставлял работы двух ученых и приводил высказывания самого Павлова о Бернаре. Тут где-то сзади послышался шумок, затем раздалось негодующее восклицание в два голоса:

– А Сеченов!..

Я обернулся и увидел гневное худощавое лицо с трясущимися губами Ю.И. Миленушкина. Так же сердито посверкивала углистыми глазами сидевшая рядом с ним Н.Г. Григорян. Оба были

¹ «Человек науки», под ред. М.Г. Ярошевского, М., «Наука», 1974, стр. 160-172.

полны негодования, словно им нанесено личное оскорбление.

Докладчик оторвался от текста, с удивлением посмотрел в зал, пожал плечом, не опиравшимся на костыль, и сделал недоуменный жест свободной рукой:

– Я же привожу факты.

Для непосвященных этот обмен любезностями выглядел бы вполне невинно, но в зале непосвященных не было!

В эпоху позднего сталинизма, когда Россия сделалась родиной слонов, а также всех важнейших достижений науки и техники, утвердилась жесткая схема: отечественная физиология создана великим ученым-материалистом Иваном Михайловичем Сеченовым, академик Павлов – великий продолжатель Сеченова. Это стало такой же непреложной истиной, как то, что Сталин – продолжатель дела Ленина. Любое отклонение от этой схемы представлялось низкопоклонством перед буржуазной наукой. К 1970-м годам догмы сталинизма, казалось бы, были давно похоронены, но многие из тех, кто их насаждал, были живы, влиятельны и не собирались уступать своих позиций. С рудиментами этих догм то и дело приходилось сталкиваться. Видны они и в книге «Человек науки». Чего стоит хотя бы такая сентенция из редакционного предисловия:

«Полемика, ведущаяся <...> в капиталистических странах, отражает антагонистический характер противоречий между достижениями современной научно-технической революции и социальными условиями, препятствующими развитию сущностных сил целостной человеческой личности, возможностей ее познания и самопознания»².

Полная бессмыслица, но какова аранжировка! Чтобы нельзя было заподозрить редактора в том, что ему недостает «классового подхода» к гниющему капитализму, который вот-вот должен рухнуть под тяжестью своих антагонистических противоречий!

После доклада Меркулова был объявлен перерыв. Захлопали кресла, притомившаяся публика потянулась из зала, но сам докладчик остался сидеть на своем месте в первом ряду: видать, не просто было ему подняться и ковлять на костылях. Я подошел к нему и представился. Он отозвался с каким-то удивительным радушием, усадил меня рядом с собой, и у нас завязался оживленный разговор, словно мы были добрыми знакомыми много лет. Я иро-

² Там же, стр. 5.

нично отозвался о реплике Миленушкина. В выразительных глазах Василия Лаврентьевича, забегали веселые искорки. Громко, на весь еще не совсем опустевший зал, он сказал:

– Юрий?! Да он же сталинист!

В нашей переписке с Василием Лаврентьевичем Миленушкин упоминается многократно. Они были знакомы аж с 1926 года: вместе учились в ЛГУ. Как сообщал мне Василий Лаврентьевич, Миленушкин еще студентом начал печататься, а в годы войны работал в редакционном бюро научных радиопередач при ВОКС (Всесоюзном обществе культурных связей с границей). Он готовил радиoproграммы о достижениях советской науки, которые шли на зарубежные страны. «Тут он познакомился с большими тузами науки и искусства!», писал мне Меркулов, и эта работа, по его словам, сильно испортила Миленушкина: «окунула [его] в пучину страстей», «связанных с погоней за популярностью»³.

Когда вышла моя книга о Мечникове, я подарил ее Миленушкину. А через некоторое время почта принесла подписанное им письмо на официальном бланке Общества историков медицины, в котором он возглавлял секцию микробиологии. В письме сообщалось, что очередное заседание секции посвящается обсуждению моей книги.

Как это было понять?

Публичное обсуждение книги – для автора всегда событие. Тем более в обществе знатоков, за плечами каждого много печатных работ, защищенных диссертаций, научных докладов в той самой области, в которую я дерзнул вторгнуться. Они могут дать книге зеленый свет, а могут вынести смертный приговор. Что день грядущий мне готовит? Уж не собирается ли Юрий Иванович учинить экзекуцию?!

Специалисты всегда ревниво относятся к вторжениям со стороны, а в данном случае повод для недовольства был особенно ясным, можно сказать, вызывающим. В центре моего повествования не научные заслуги Мечникова в микробиологии (хотя, по моему мнению, о них рассказано достаточно подробно), а его философские, мировоззренческие искания. Сюжет выстроен не по шаблону: родился, учился, женился, защитился – он концентрируется вокруг одного дня жизни Мечникова, 30 мая 1909 года, когда он

³ Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

приехал в Ясную Поляну, к Льву Николаевичу Толстому, носителю противоположного мировоззрения. Столкновение двух противостоящих философий – таков был стержень повествования. Я полагал, что это могло сильно не понравиться спецам по истории микробиологии.

Я позвонил Миленушкину, чтобы прощупать ситуацию, но вместо долгого разговора по телефону он пригласил меня к себе домой. А когда я приехал, он... вылил на меня ушат похвал, так что я потом долго не мог опомниться. На обсуждении книги он председательствовал, выступил первым и – повел аудиторию за собой. Раздавались и недовольные голоса: почему так много о встрече с Толстым, не за это Мечникову присудили Нобелевскую премию! Но не такие голоса превалировали.

Свое выступление Миленушкин затем превратил в обстоятельную рецензию и опубликовал ее в журнале «Природа» (зadolго до того, как я стал в нем работать). В рецензии было несколько дельных замечаний, причем легко устранимых, так что за излишнюю опасливость я был наказан: показал бы ему рукопись заранее, неточности были бы выправлены. Но общая оценка была такова, что мне и сейчас неловко ее цитировать. Моя книга противопоставлялась всей предшествовавшей литературе о Мечникове как «новое и интересное явление». Особо подчеркивались ее преимущества перед классическим международным бестселлером «Охотники за микробами» Поля де Крайфа (де Крюи)⁴. Лучшего отзыва просто не могло быть!

У меня сохранился оттиск этой рецензии с дарственной надписью Юрия Ивановича:

«Семену Ефимовичу с чувством глубокой симпатии, уважения и с самыми горячими пожеланиями грядущих успехов, а также на память о том заседании об[щест]ва, где обсуждалась книга. 17.4.75 (Подпись)».

После этого я не раз бывал в небольшой квадратной комнатке Миленушкина, затянутой сизым табачным дымом. Он почти непрерывно курил, причем не сигареты с фильтром, как было принято, а, по-старомодному, папиросы «Беломор».

Среди прочего, он показал мне оригинальную фотографию на

⁴ Ю. И. Миленушкин. *Свежее слово о Мечникове*. «Природа», 1974, № 8, стр. 122-124.

стекле (позитив) – выступление Мечникова в Институте экспериментальной медицины, 1909 год. Это был подарок В.Л. Меркулова.

Отношения дружбы-вражды у них были давние. Меркулов вспоминал с долей ядовитого сарказма, что еще в 1965 году, когда он посетил Миленушкина, у них был «жестокий спор», в котором его, Меркулова, поддерживала 16-летняя дочь Миленушкина Таня, оказавшаяся «более политически зрелой», чем ее отец.

«В Риге летом 1969 г. – мы пару дней были с Юрием вместе – он проявил такие “комические” суждения, что я был изумлен его упорной склонностью оправдывать злодеяния некоего грузина [Сталина] соображениями: “не знал и не ведал”», -- писал мне Меркулов в том же письме⁵.

Страстный охотник, Миленушкин был очень активен в обществе охотников, публиковал обзорные статьи, очерки, рассказы, рецензии в сборниках «Охотничьи просторы» и других подобных изданиях. Его «другом по охоте» был президент академии Медицинских наук В.Д. Тимаков, микробиолог. Юрий Иванович считал, что имеет влиятельного покровителя, и чувствовал себя уверенно, но когда директор института имени Гамалеи О.В. Бароян решил вытурить его на пенсию, Тимаков пальцем не пошевелил. Сбылось пророчество В.Л. Меркулова:

«Когда в Ленинграде отмечалось 100 лет со дня рождения Д.К. Заболотного⁶, я, как один из докладчиков (Д.К. в ИЭМ), попал в президиум и познакомился с Тимаковым и Барояном. И тогда же я предсказал Юрию – *тебе скоро труба*. Твой Володя – черствый дипломат, за тебя он не захочет хлопотать, и защиты от него не жди! <...> И потом, когда его выжил Бароян на пенсию, он стал умнее»⁷.

Последний раз они виделись в октябре 1975 года, когда Василий Лаврентьевич остановился на несколько дней в Москве, возвращаясь из Тбилиси со съезда историков науки.

«О многом мы вспоминали и говорили, – писал мне Меркулов. – Он давно имел язву кишки и желудка, много курил, его страшно деморализовало: 1) выход на пенсию, 2) разочаровался в “друге по охоте” лауреате Ленинской премии, президенте АМН и академике “Володе Тимакове” и 3) что музей И.И. Мечникова, собранию коего он отдал почти 30 лет работы, по приказу Барояна передан в

⁵ Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

⁶ Даниил Кириллович Заболотный (1866-1929), выдающийся бактериолог и эпидемиолог.

⁷ Там же.

Ригу в Музей истории медицины!»⁸.

С близкими Миленушкина я знаком не был и о его кончине (2 января 1976 г.) узнал с опозданием, из Ленинграда, от Меркулова.

На его подробное письмо я отвечал:

«Все, что Вы пишете о Юрии Ивановиче, мне очень интересно. Я знал его только в последние годы и был очень тронут его добрым отношением ко мне и к моей книге о Мечникове. Он казался мне очень добрым и несколько наивным человеком, чрезвычайно простым и открытым (этаким пожилым ребенком). Но оказывается, это не совсем так. Например, на мои вопросы о здоровье он неизменно отвечал, что все хорошо. Я даже не знал, что у него язва. О его переживаниях, связанных с уходом со службы, я тоже узнавал стороной, сам он мне об этом ни разу не говорил»⁹.

Таким оказался этот необычный сталинист, вставший горой на защиту *единственно правильного учения* об академике Павлове – великом продолжателе своего, отечественного, Сеченова, а не какого-то подозрительного «космополита» Клода Бернара!

Заново знакомясь с докладом Меркулова по печатному варианту, я вижу, что вторая его половина была посвящена «мотивации» научной деятельности А.А. Ухтомского. Ухтомский как раз был продолжателем Сеченова. Он принадлежал к школе Н.Е. Введенского, наиболее одаренного ученика Сеченова в Петербургском университете. Введенский унаследовал кафедру физиологии от Сеченова, Ухтомский – от Введенского: преемственная связь очевидна. Но, вероятно, именно поэтому не она занимала Меркулова. В его докладе говорится о влиянии на Ухтомского крупнейших философов – от Платона и Аристотеля до Шопенгауэра и Гегеля, и особенно – произведений Ф.М. Достоевского. Для меня, только что познакомившегося с письмами А.А.Ухтомского к Е.И. Бронштейн-Шур¹⁰, это было наиболее интересно, но разговор наш до второй половины его доклада не дошел, – во всяком случае, в моей памяти ничего на этот счет не сохранилось.

...Перерыв кончился, мы обменялись адресами и, пока люди рассаживались, я поспешил уйти: на вторую половину заседания я не мог остаться.

⁸ Там же.

⁹ Архив автора. Копия моего письма В.Л. Меркулову от 31 января 1976 г.

¹⁰ Об этих письмах и самой Е.И. Бронштейн-Шур рассказывается в предшествующих главах книги.

Любви все возрасты покорны

Лена Бронштейн была не единственной и не первой любовью Алексея Алексеевича Ухтомского. За двадцать лет до встречи с нею он, тогда еще студент университета, был приглашен в многочисленное семейство Платоновых, жившее на углу 13-й линии Васильевского острова и Большого проспекта.

Был конец октября 1905 года. Всего несколько дней назад был обнародован царский манифест: народу даровались основные гражданские свободы. Революционная стихия пошла на спад, но в городе еще было неспокойно. На улицах и площадях вспыхивали митинги, демонстрации, шныряли усиленные наряды полиции, хлопали выстрелы. Ухтомского предупредили, что дверь с улицы будет заперта, ему следует пройти через двор в кухню, но постараться не попасть на глаза дворнику, который берет на заметку всех «студентов в синих околышках».

Ухтомский только что вернулся из путешествия по Волге и Уралу: ездил в качестве представителя питерской старообрядческой общины. У старообрядцев были давние счеты с властью и с официальной церковью, им требовалось скоординировать свои действия. Ухтомский встречался с «подозрительными» людьми и сам попал под подозрение, несколько раз ускользал от ареста¹¹. Учитывая накопленный опыт конспирации, он пришел к Платоновым в желтой верблюжьей куртке и черном картузе, какие носили приказчики.

Отец семейства недавно умер, мать с одной из дочерей еще не вернулась с Кавказа, куда выезжала на лето; в доме главенствовал их единственный сын Юрий Александрович, студент горного института. Он стал горячо говорить о революционных событиях, о царском манифесте и о том, что на этом нельзя успокаиваться. Надо требовать твердых гарантий, что обещанные преобразования будут осуществлены. На слово властей полагаться не следует, совести у них нет. Так считает не только он сам и другие студенты Горного института, но и профессора, такие как математик И.П. Долбня, которого студенты особенно любят и почитают.

Ивана Петровича Долбню Ухтомский хорошо знал: когда он был курсантом Кадетского корпуса в Нижнем Новгороде, математику

¹¹ В архиве Ухтомского сохранились краткие записи, дающие представление об этой длительной поездке.

<http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=2>

преподавал И.П. Долбня. Для Алексея он стал Учителем с большой буквы. Юноша поверял Ивану Петровичу свои сомнения, переживания, делился планами и всегда встречал в нем участие. Он потому и избрал Петербургский университет, что в Питере жил Долбня. Их контакты возобновились и стали почти такими же тесными, как когда-то в Нижнем Новгороде. Он многое мог рассказать об этом умном и чутком наставнике своим новым знакомым.

Они сидели за чайным столом, под большой картиной, изображавшей сцену прощания Наполеона с ветеранами-гренадерами. Ухтомский запомнил, что на другой стене тоже висела картина на сюжет наполеоновских войн: солдат в траншее извлекает из под-сумка убитого товарища оставшиеся патроны, тогда как вдали уже видны цепи наступающего врага. Картина называлась «Последний патрон».

Беседа была оживленной, в нее включились сестры Юрия Александровича – Женя, Клаша, Машенька. Одна лишь Варенька молчала, внимательно слушала, но чувствовала себя скованно; когда гость поворачивался к ней, она вспыхивала и отводила глаза.

Он зачастил в дом Платоновых, и вскоре все заметили, что между ним и Варенькой возникли особые отношения.

Варенька служила в бухгалтерии правления Рязано-Уральской железной дороги, но душа ее витала далеко от приходно-расходных книг. Она увлекалась поэзией, философией, была набожна, отзывчива на чужое горе. И при всем том чувствовала себя одинокой, не такой как все. Ее *особость* тотчас почувствовал Ухтомский – и потянулся к ней.

Человек деятельный и активный, он общался со многими людьми самых разных слоев общества – от царского дворца до крестьян и мастеровых из заволжской глуши, где вырос. От прихожан своей старообрядческой (единоверческой¹²) церкви до товарищей по университету. С бывшими однокашниками по кадетскому корпусу и духовной академии. Но близости ни с кем не возникало, он оставал-

¹² *Единоверие – ветвь старообрядчества, которая пошла на примирение с официальной церковью на условиях сохранения древних богослужебных чинов, что и было узаконено при императоре Павле I по инициативе московского митрополита Платона (Левшина). По свидетельству А.А. Золотарева, переход Ухтомского в единоверие был совершен под «плодотворным и животворным воздействием» учебы в Духовной Академии, но об этом ниже.*

ся *ото всех отдельно*, и это его мучило. Тут в его жизни и появилась Варенька.

Были ли у 30-летнего Ухтомского романы или хотя бы мимолетные увлечения до встречи с ней? Похоже, что были, но о них ничего неизвестно, если не считать нескольких не вполне ясных дневниковых записей. Так, в декабре 1896 года, между философско-религиозными размышлениями, вдруг возникает П.Ф., Пелагея Федоровна – «редкая девушка», пробудившая в нем «так много жизни, так много жажды жизни»¹³. Впервые она появляется в дневнике 4 декабря. А последняя запись, похожая на прощальную, сделана уже 22 декабря, всего через 18 дней:

«Пелагея Федоровна – редкая девушка <...> Я не встречал такого сочетания детской простоты и доверчивости с несомненно мужественным сердцем; я, наконец, не встречал сочетания всего этого с любовью ко мне. Это потеря жизни... Господи, дай ей счастья, да вспомнит она меня добрым словом в минуты своего счастья!»¹⁴

Вспоминала ли потом о нем Пелагея Федоровна, неизвестно, но он о ней, похоже, забыл навсегда.

Двумя годами позже в дневниках начинает мелькать Настенька и ее мать, обозначенная только инициалами: А.Л. Не без труда можно догадаться, что их фамилия Половцевы, возможно, родственницы известного государственного деятеля А.А. Половцева.

1 августа 1899 года Ухтомский делает запись, из которой явствует, что он влюблен в Настеньку, а еще через три дня констатирует: «Божья жизнь стала для меня немислимой без Насти»¹⁵.

Но мать хотела не *Божьей жизни* для своей дочери, а простого земного счастья. Торопя события, она пыталась воздействовать на него через его близких. Так, во всяком случае, я понимаю следующую дневниковую запись:

«А.Л., у Вас все есть и всего много; а у меня Вы хотите отнять последнее, что есть у меня, “единственную мою овцу” – нравственную и физическую свободу, которая создавалась для меня с таким трудом и так *дорого*. И для этого Вы вооружаетесь на меня всеми моими врагами, всеми врагами моей жизни и нравственной свобо-

¹³ А.А. Ухтомский. *Лицо другого человека*, СПб., изд-во Ивана Лимбаха, 2008, стр. 74

¹⁴ Там же, стр. 77.

¹⁵ Там же, стр. 106. Дневниковая запись от 4 августа 1899 г.

ды, – кончая моими рыбинскими родными»¹⁶.

Имя Насти в дневнике больше не появляется...

Не то было с Варенькой Платоновой, вошедшей в его жизнь прочно и навсегда. Уже через месяц после знакомства, побывав очередной раз у Платоновых, он записал:

«Варвары Александровны не было, не было ее; и уже шевельнулась злая змея в душе против религии жизни. <...> А Варвара Александровна свет и правда, ясность и благо! Дай ей Бог всего этого, ибо без того тяжело будет ей в грядущей обыденщине, которой, кажется, все равно не минуешь»¹⁷.

Они становились все ближе, все нужнее друг другу, вместе им легче было противостоять ненавистной *обыденщине*. Их отношения почти неизбежно вели к естественной кульминации: «Я всегда был против женитьбы, ибо чувствовал, что не могу этого сделать свободно. Могу сказать, что относительно В.А. я впервые почувствовал, что могу жениться на ней вполне свободно, *даже во имя моей свободы*»¹⁸.

С каждой встречей у них обнаруживалось все больше общего: глубокая религиозность, трепетная любовь к старине, к народным преданиям, к красоте церковного богослужения, готовность прийти на помощь каждому страждущему и обездоленному.

Варенька по воскресеньям посещала ближайшую к дому церковь Морского корпуса, но в ней царил формализм и *обыденщина*; казалось, что люди приходят только чтобы отбыть номер. Ухтомский привел ее в свою Никольскую единоверческую церковь на Николаевской улице, вблизи Невского проспекта. Прихожане здесь были душевнее, ближе друг другу, чувствовалось, что совместные молитвы очищают их от мирской скверны, возносят к горним высям. Под влиянием Алексея Варенька стала приобщаться к исконному, не испорченному, как они оба верили, православию, традиции коего восходили к допетровской и дониконовской Руси.

Каждая встреча приносила им много радости, а если свидание почему-либо срывалось, – немалое огорчение. Казалось бы, никаких препятствий к тому, чтобы соединиться, не было. Близкие Вареньки не могли желать для нее лучшей партии; что касается Алексея, то что-то, а возможное неодобрение родичей его остановить не могло.

¹⁶ Там же, стр. 148. Дневниковая запись от 23 мая 1900 г.

¹⁷ Там же, стр. 165. Дневниковая запись от 27 ноября 1905 г.

¹⁸ Там же, дневниковая запись от 30 декабря 1905 г., стр. 167.

Но... Дни шли за днями, складывались в недели, месяцы, годы. Варенька ждала, недоумевала, терзалась, негодовала – то на него, то на себя. Смирив девичью гордость, прямо спрашивала: когда же?.. Он мялся, путался, уверял, что их *соединение во Христе* давно уже состоялось, а что до *соединения перед людьми*, то этого еще нельзя, не время, надо упрочить свое положение, и вообще не следует привлекать к себе излишнего внимания... Бывало и так, что все, казалось бы, было между ними решено, и она записывала в дневнике:

«Я не радуюсь, а радость помимо меня получается оттого, что мне легко, а легко потому, что на Духу сказала то, что мучило, угнетало мое самолюбие, мою гордость, что не давало покоя. Я отцу Виктору сказала, что выхожу замуж, что люблю моего жениха больше, чем он меня»¹⁹.

Увы, она снова желаемое приняла за действительное.

Между ними возникало напряжение, жизнь разлучала надолго, порой на годы. Переписка тоже шла неровно: обрывалась на месяцы и годы, потом возобновлялась, становилась то более, то менее доверительной и интимной. Но мысленно они всегда были вместе. Обойтись друг без друга они не могли, а к совместной жизни были неспособны. То есть Варенька очень даже была способна, только и мечтала о том, чтобы соединиться со своим Алексеюшкой. Но он, много раз вплотную приближавшийся к последней разделявшей их черте, переступить ее так и не смог. Может быть, вправду любил ее меньше, чем она его? Или любил как сестру и друга, но не как женщину? Или...

«Часто – чаще, чем мы думаем, – бывает, что лишь издали порываясь к человеку, помогаясь его, пока он до нас недоступная святыня, мы любим и идеализируем его, и тогда обладаем этим великим талисманом творческой идеализирующей любви, которая прекрасна для всех: и для любимого, – ибо незаметно влияет на него, и для тебя самого, – ибо ради нее ты сам делаешься лучше, деятельнее, добрее, талантливее, чем ты есть!

Но вот идеализируемый человек делается для тебя доступным и обыденным. И просто потому, что ты сам плох, обладание любимым, ставшее теперь простым и обыденным делом, роняет для тебя твою святыню, – незаметным образом огонь на жертвеннике

¹⁹ Цит. по: Игорь Кузьмичев. А.А.Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника, стр. 46.

гаснет. Идеализация кончается; секрет ее творческого влияния уходит с нею. И ты оказываешься на земле, *бескрылым, потерявшим свою святыню – оттого что приблизился слишком близко к ней!* <...> Иерусалим делается всего лишь грязным восточным городом! И из-за его восточной грязи ты больше не способен усмотреть в нем вечной святыни! Прекрасная невеста прекрасного ради нее жениха стала затрапезной женою отупевшего мужа!..»²⁰

Такая «философия любви и брака» была им изложена в письме к другой возлюбленной, о ней речь впереди. Боязнь *обыденщины, которой все равно не минуешь*, оказывалась сильнее самой горячей любви. Та, *другая*, его не поняла и попросила «больше ее не трогать». Варенька понимала, а если не всегда понимала, то все и всегда *принимала*. Их притяжение-отталкивание длилось до последних дней его жизни. Даже в блокадный Ленинград, где он медленно умирал летом 1942-го, стали прорываться ее письма; превозмогая физическую немощь и боль, он исправно на них отвечал. Последнее его письмо датировано 22 июля 1942 года:

«Закат мой еще и еще раз посылает Вам горячее пожелание сил, здоровья, крепости и терпения <...> Как мне хотелось бы представить себе, что делается сейчас на Жиздре у Козельска²¹, – какие памятки там еще остались? Сохранились ли леса на жиздринском правом берегу? На моей памяти они были молчаливые и прекрасные, отличаясь от наших северных лесов тем, что посреди хвои в них вкраплен дуб. Так бы и побродил опять в этих пустынях. Но я забываю, что сейчас и по комнате я брожу через силу от больной ноги и слабости, нажитой болезнью пищевода. Первое, как я сообщал, есть некротический процесс, пока продолжающийся; а второе, как я надеюсь, не связано с чем-нибудь злокачественным, а является скорее нервно-мышечным расстройством пищеводной трубки и привратника к желудку. Иногда я ем, и тогда немного подкрепляюсь; а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею».²²

²⁰ *Лицо другого человека, стр. 509. Письмо Ухтомского к И.И.Каплан от 25 ноября 1922 г.*

²¹ *Имеется в виду Оптина Пустынь – знаменитый монастырь, закрытый большевиками. Монастырь расположен на берегу реки Жиздры, напротив города Козельска. В.А.Платонова тогда жила в Калуге, но наезжала в Козельск (в 70-ти километрах от Калуги), о чем сообщала Ухтомскому.*

²² *Там же, стр. 500.*

Второе было связано со злокачественным процессом. Он это предчувствовал, а, возможно, и знал. Письмо заканчивалось словами:

«Простите и помните Вашего преданного А.У.»

31 августа, то есть через месяц и девять дней его не стало.

В том, что она *простила* и *помнила* до конца своих дней, можно не сомневаться, хотя дата *ее* смерти неизвестна.

Вторая любовь его жизни (если считать Вареньку первой) была недолгой, но куда более романтической. О начальной, наиболее счастливой ее поре известно мало. Пора эта приходится на весенне-летние месяцы 1922 года, когда профессор Петроградского университета Ухтомский со своими сотрудниками и студентами-практикантами жил и работал в Александрии (Новом Петергофе).

Это был самый знаменательный год в его жизни. В этом году, после кончины профессора Н.Е. Введенского, он был утвержден заведующим кафедрой физиологии животных. В этом же году он впервые публично выступил с докладом о доминанте, благодаря которой его имя навсегда вошло в историю науки. И на этот же год приходится «наша прекрасная Александрия», как он назвал те полуголодные, но счастливые месяцы.

Когда-то эти земли на берегу Финского залива Петр I пожаловал некоторым своим приближенным. Они переходили из рук в руки, пока ими не завладел государь Николай I, подаривший имение своей жене Александре Федоровне. В ее честь оно и стало называться Александрией. Для нее был построен летний дворец, возникли вспомогательные постройки. При Александре II – еще дворец, потом еще и еще. Появилась небольшая, очень изящная церковь в готическом стиле. Был разбит «англицкий» парк с деревьями разных пород, цветниками, лужайками, клумбами, беседками; причудливо извивающиеся дорожки вели к морскому берегу, где были оборудованы купальни. Тишину нарушали соловьиные трели, в ясную погоду на горизонте вычерчивался силуэт Кронштадта.

В 1920 году часть построек была передана биологическому отделению Петроградского университета. Кафедре физиологии животных достался двухэтажный корпус, построенный когда-то для челяди Николая I.

В больших и самых светлых комнатах разместились лаборатории, комнаты поменьше отвели под жилье сотрудников кафедры. Для жилья студентов был выделен второй этаж другого корпуса, в глубине парка.

Студентов-физиологов, выехавших летом 1922 года на практику, было восемь человек: семь девушек и один парень, Николай Владимирский. Имена девушек тоже известны благодаря воспоминаниям одной из них, А.В. Казанской (в девичестве Копериной). Кроме нее самой это были Роза Кацнельсон, Ида Каплан, Надя Сергиевская, Миля Шторх, Инна Вольфсон и Ася (ее фамилию мемуаристка не запомнила).

Алексей Алексеевич раздал всем темы для экспериментальных работ и сам ими руководил. По вечерам беззаботная компания собиралась в гостиной. Было много смеха, шумных веселых игр, песен, стихов. Профессор Ухтомский охотно участвовал в развлечениях молодежи, было видно, как он, в свои 47 лет, был еще молод.

О том, какое настроение царило в их веселом кружке, говорит стихотворная пародия, заставившая Алексея Алексеевича смеяться до слез:

Но, Боже мой, какая скука
Сидеть с лягушкой день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживую раздражать,
Ее в растворы погружать,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!

Сочинила этот нехитрый стишок Миля Шторх. Она же играла на фортепиано, под собственный аккомпанемент пела песенки Вертинского, которыми молодежь особенно увлекалась, а для Алексея Алексеевича они были внове. К современной поэзии девушек и профессора приобщала Ида Каплан. Она была в курсе литературной жизни Питера, была знакома с «Серапионовыми братьями», посещала собрания их кружка.

Хотя Алексей Алексеевич был добр и внимателен ко всем студенткам, вскоре было замечено, что Иде Каплан он отдает предпочтение. (С Колей Владимирским отношения, наоборот, стали портиться).

Динамику отношений Ухтомского с Идой Каплан в те летние месяцы, проследить невозможно: общаясь ежедневно по много часов, писем друг другу они не писали, дневниковых записей Алексей Алексеевич тем летом не вел или они не сохранились, А.В. Казанская в своих воспоминаниях эту деликатную тему целому-дренно обошла.

С уверенностью можно сказать только одно: за эти счастливые месяцы 19-летняя Ида стала для 47-летнего профессора центром вселенной. Вокруг нее вращались, на ней были сосредоточены его самые светлые помыслы и самые благородные чувства. Чем она его обворожила? Об этом ничего не известно. Вероятно, она была очень красива, но это лишь предположение: фотографий ее я нигде не нашел, как и описания ее внешности. Моя просьба, обращенная к ее сыну, сообщить подробности о матери, осталась безответной. Но имеются письма Ухтомского, которые посыпались на нее после возвращения из Александрии. В одном из них приводятся выписки из несохранившегося дневника, но они относятся ко времени, когда лучшая пора их отношений была уже на исходе. В дневнике он обращается к ней на «ты», чего никогда не позволял в письмах. Она для него – Солнце, обогревающее Землю; с приближением осени «Земля» стала чувствовать, что Солнышко греет все неохотнее, все чаще его обволакивают тучи.

21 августа (3 сентября по новому стилю), еще в Александрии он записал, а потом процитировал в письме:

«Дорогое Солнышко, будем ли мы видеться зимою?» «Но ведь я не знаю, когда можно прийти к тебе с уверенностью, что ты в своей зачерствелой суровости не вздумаешь отвернуться от меня. Один день ты можешь быть мне рада, а в другой я окажусь тебе в тягость»²³.

После возвращения в Петроград он стал писать ей длинные послания, несмотря на то, что они постоянно виделись в университете. Письма пронизаны трогательной заботливостью, нежностью, теплотой и – печалью. «Дорогая Ида», она же «дорогой мой человек», она же «моя родная труженица», «мой прекрасный друг», «мое сокровище», она же – «моя нечаянная радость и великая печаль».

Он в постоянной тревоге за нее. Он пытается быть ей нужным, полезным, но боится оказаться навязчивым.

Он просит ее быть «такой сердечной» и не отказаться «покушать нашей стряпни» – ее приготовила их общая приятельница по Александрии, работавшая в соседней лаборатории биохимии, Вера Федоровна Григорьева.

Профессорам в то голодное время уже полагался усиленный паек, не доступный простым смертным, и он упрощает ее согла-

²³ Здесь и далее письма Ухтомского к И.И. Каплан цитируются по: А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 504-542.

ситься на то, чтобы он брал для нее с фермы молоко.

Он глубоко встревожился, когда она пришла в университет не совсем здоровой, с побледневшим лицом и побледневшими губами, и просил ее остаться дома, не ходить на занятия: «Ну, укрепляйтесь же и отдыхайте!» «Я буду рад знать, что Вы отдыхаете, крепнете, читаете, лежите, думаете в свое удовольствие».

Пришла весть о кончине его учителя профессора Н.Е. Введенского, Алексей Алексеевич должен был выступить с докладом о его научной деятельности. Он тотчас шлет просьбу своему «сердечному другу»: не найдет ли она возможным присутствовать на докладе – «это тяжелое для меня испытание было бы облегчено для меня чувством, что Вы тут».

Он просит показать фотографии ее родителей, и когда она приносит несколько семейных фотоснимков, рассматривает их с трепетным умилением, а потом шлет слова благодарности:

«Спасибо Вам, мое сокровище, что показали карточки Ваших папы, мамы и себя, – такой маленькой и беззащитной посреди своего садика, между папой и братом».

Однако Ида приходит все реже, в университете встречается с ним только по делу, и так, чтобы не оставаться наедине. Он это чувствует и изливает свои чувства в нескончаемых письмах, которые пишет с перерывами, по нескольку дней, стараясь раскрыть перед нею свои душевные порывы и духовные искания.

В большом письме от 30 ноября он признается:

«Я начинаю и бояться, что надоем Вам этими длинными речами посреди Ваших новых интересов. Но уж простите меня за назойливое желание побыть с Вашей душой хотя бы лишь через письмо!»

Но, увы! Отношения становятся все более отдаленными, и то, что еще вчера было настоящим, неумолимо уходит в прошлое:

«Я счастлив уже тем, что знаю Вас, – пишет он ей 20 января следующего года. – Вы были для меня вполне незаслуженным собеседником, незаслуженным счастьем, Божиим даром. Нынешнее отчуждение Ваше от меня я признаю вполне заслуженным, хоть и больно оно для меня».

Итак, в январе 1923 года «незаслуженное счастье» было уже позади. Переписка приостанавливается. Следующее письмо датировано 15 апреля, но является чисто деловым, хотя пронизано прежней нежностью:

«Дорогая Ида, на случай если Вы пожелали бы быть на докладе о Вашей летней работе²⁴, сообщаю, что доклад будет сделан в отделении зоологии и физиологии Петроградского Общества естествоиспытателей в этот четверг 19 апреля в 7 час[ов] вечера. Повестку прилагаю. Примите мое приветствие с днем Вашего двадцатилетия, которое исполнилось или исполнится в эти пасхальные дни. Дай Бог Вам света, счастья и необманной радости. Буду счастлив, зная, что Вы счастливы. Проходя по университетскому коридору, случайно прочел в одном объявлении, что Вы освобождены от платы за учение в 22/23 академическом году. Если Вы еще этого не знаете, я рад сообщить Вам эту весть. Ваш преданный А. Ухтомский».

Ида, конечно, пришла на заседание, на котором докладывалась их совместная работа. После выступления Алексей Алексеевич ревниво расспрашивал ее, понравился ли ей доклад. Он передал ей текст и предложил сделать к нему краткое резюме на английском языке для совместной публикации в научном журнале. В следующем письме, от 3 мая, тоже в основном деловом, он ей писал:

«Ко мне пристают павловцы, чтобы я доложил им на физиологических Беседах²⁵ о Доминанте и связанных с нею работах. Я пока чувствую себя слишком скверно и слабо [после перенесенной болезни], чтобы взять на себя какие-нибудь обязательства и обещания. Я ответил пока лишь принципиальной готовностью сделать им доклад и повторить доклад Вашей работы. При этом мне хотелось бы, чтобы доклад Вашей работы был сделан Вами. Дело, конечно, не в перечитывании вновь того, что читано мною в Обществе Естествоиспытателей. Вы, я надеюсь, взяли бы на себя не без удовольствия самостоятельную переработку материала. А после работы сокращения и конденсирования доклада для иностранного резюме это было бы и нетрудно».

Выступить на семинаре у Павлова! Любой студентке такое пред-

²⁴ Речь идет о докладе по материалам экспериментальной работы, выполненной И.И. Каплан в Александрии под руководством Ухтомского.

²⁵ Речь идет о знаменитых «Павловских средах» – семинарах, на которых обсуждались новейшие работы по физиологии.

ложение вскружило бы голову.

Ида с готовностью согласилась и также изъявила готовность летом снова поработать в Александрии, дабы продолжить свои исследования. Но тут вмешались «высшие силы», все планы рухнули – об этом речь впереди.

Продолжая заниматься на кафедре Ухтомского, Ида все яснее понимала, что физиология – не ее стезя. Вне университета они больше не виделись. Но он продолжал ей писать, испытывая неиссякаемую потребность выговориться.

«Пробежали прекрасные, горячие, солнечные дни прошлогодней Александрии, и их нет. Слава Богу за них! Для меня это был подарок на всю жизнь, такой незаслуженный, такой необыкновенный».

Дистанция между ними неумолимо удлинялась, он принимал это со смиренной горечью, зная по опыту, «что прекрасное бывает редко, ненадолго, и дается людям скупой!»

Он снова и снова исписывал страницу за страницей, не в силах остановиться.

«Какое наказание я Вам доставляю! Все пишу и пишу, – продолжал он в письме от 14 октября. – Это за то, что Вы мне не показываетесь, отучили говорить с Вами, а потребность говорить Вам во мне неиссякающая! <...> Я чувствую, мое сокровище, что я для Вас источник недоумения, – оттого Вы и перестали говорить со мной. Недоумение мучительно. Но у меня-то живая потребность говорить с Вами о том, чем я живу, – передать Вам то хорошее, что еще осталось у меня. Когда заглухнет во мне жизнь, тогда я сам загложу, перестану говорить с Вами».

Неизвестно, что ответила Ида на эти излияния, но из ответа на этот ответ видно, что Алексей Алексеевич продолжал ее боготворить:

«Вы правы почти во всем. Прекрасная совесть дает Вам прекрасную чуткость и чутье. Я помню, – Вы говорили, что я Вас не знаю. Я Вас знаю и люблю именно такую, какую Вы раскрываетесь в этом письме. Мимо меня прошло что-то удивительно прекрасное, прекрасное человеческое лицо, которое будет для меня навсегда светлым огоньком в дали уходящей жизни. Хочу одного: чтобы этот

огонек был счастлив, и не призрачно, а серьезно и полно. Ваше слово “не трогать Вас больше” я свято исполню. Вы пишете о тех или иных Ваших сторонах, за которые я мог Вас ценить. Уверяю Вас, что ценны и нужны мне были только ВЫ, а не ВАШЕ. Искал я в Вашем обществе не удовольствия, не счастья, не успокоения, а только Вас <...> Да будет благословен и светел Ваш жизненный путь. Прощайте, мой ненаглядный друг, не поминайте лихом и простите».

Так завершился этот недолгий роман.

Последний привет от нее он получил через год и тотчас на него отозвался:

«Дорогая Ида, спасибо Вам за милое письмо. Я не сумею передать Вам, какую радость доставило мне неожиданное чтение Ваших строчек. Как будто пришла весточка с того света, через пустынные пространства мира, от давно умершего для меня друга, из давно ушедшего от меня мира! Я привык, освоился с тем, что для меня невозможно конкретное общение с тем, что там, и ушедший друг отделен все растущим непроницаемым расстоянием. И вдруг оттуда приходят живые строки, написанные живою рукой! <...> Если у Вас есть мысль, что от нашей встречи возникло что-то в самом деле ценное для Вас, то пусть оно не умрет, пусть поможет Вам в жизни. Я живу этой верой и хочу, чтобы Ваша жизнь была хороша для Вас и для людей. Ужасно счастлив от мысли, что мог дать Вам хоть каплю доброго».

Ида Каплан вышла замуж за писателя Михаила Слонимского, одного из Серапионовых братьев. Она прожила долгую и, по-видимому, счастливую жизнь. Вырастила сына, ставшего известным композитором. Алексей Алексеевич Ухтомский остался для нее воспоминанием далекой молодости, которое она свято хранила. Умерла в 1998 году, в возрасте 95 лет.

Осенью того же 1924 года ученицей Ухтомского стала Елена Бронштейн.

«Впервые я разговаривала с А.А. Ухтомским на экзамене по курсу общей физиологии в 1924 г. Эту встречу я запомнила на всю

жизнь. Спрашивал он меня не по билетам, и при ответе на каждый вопрос приходилось напряженно думать. Иногда я ловила на себе, как мне тогда казалось, его насмешливый взгляд и при этом чувствовала, что отвечаю очень плохо. После экзамена Алексей Алексеевич поставил мне в зачетную книжку высшую в то время оценку “весьма удовлетворительно” и предложил работать у него в лаборатории»²⁶.

Окончание следует

Семен Резник – писатель, историк, журналист, автор исторических романов, научно-художественных биографий, историко-публицистических книг о России последних двух столетий. Эмигрировав в США, работал на радиостанции Голос Америки.

Широко известна его книга “Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях диалоги А.И. Солженицына”, вышедшая в Москве двумя изданиями.

Недавно увидели свет его новые книги: “Сквозь чад и филмиам”, “Запятнанный Даль”, “Непредсказуемое прошлое (Выбранные места из переписки с друзьями)”.

Новая его изданная работа посвящена 100-летию процесса Бейлиса.

²⁶ А.А.Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 71.

МУЗЫКА ДУШИ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

**Марина Тюрина Оберландер. «Музыка слов». –
М.: Водолей, 2013. – 447 с.**

Поэзия – это музыка души, созданная словами и рифмами, затрагивающая самые потальные струны человеческого сознания. Однако, только истинный поэт имеет дар услышать и донести божественную музыку стиха до души другого человека. Таковой с уверенностью можно назвать Марину Тюрину-Оберландер.

Родившаяся в Ленинграде в семье выдающегося учного-почво-веда и выросшая в Москве, окончившая МГУ им. Ломоносова, Марина работала редактором в издательствах «Прогресс» и «Радуга», являлась автором многих переводов датских авторов, а также преподавала датский язык в Дип. Академии МИДа СССР. Сейчас она с супругом живёт в Вашингтоне, часто посещает Москву и продвигает русскую культуру как в США, так и в Европе.

Марина – современный русский поэт – актуальная, меняющаяся, созерцающая, владеющая несколькими языками, смешная и серьёзная, объехавшая полмира и соединившая его воедино в своей второй книге «Музыка слов». Книга включает не только стихи, но и прозу. Она органично разбита на четыре тетради. Первые три вмещают стихотворные сюиты, альбомы, вариации, рондо и рондо-фантазии, четвёртая – рассказы, их шесть.

Открыв «Музыку слов», вы с первых строк буквально «уплывете» в мелодиях многогранной души автора и только прочитав книгу от корки до корки, а именно только так её и нужно читать – как дневник, вы вернётесь в этот мир обогащёнными новой мудростью и смыслом, зарядитесь неисчерпаемым оптимизмом автора и если тяжело было на душе, то снова захотите жить. Ведь «сквозь призму» Марининого «я» глядим мы, читатели, на «земные тайны», «дивясь тому как неслучайны прожилки в жилах бытия».

Книга многолика и является своеобразным подведением итогов годов ушедших, но вместе с тем автор идёт вперед, наполняя читателя желанием к жизни и движению, подавая пример:

*я обожжаю вечное движенъе
пустое времени не чту препровожденье
и если поддаюсь порою лени
ищу пути её преодоленья*

«Музыка слов» – это и поэтический отчет поэта о ел семье, страданиях, выпавших на её долю, радостях, делимых ею и её семьей, и жизненных неизбежностях. Сначала с Мариной

*мы возвращаемся туда
где нас никто не ожидает
где путеводная звезда
в пустынном небе пропадает*

Потом, «прошагав» полЕвропы с автором книги от Парижа до Пизы, от Венеции до Кипра, от Лондона до Праги, мы перенеслмся в Америку и охватим пространство от Сарасоты до Вашингтона. Прогуляемся по Манхэттену, заглянем в устричную бухту и проникнем в монастырь Св. Екатерины на Синае.

Дальше ощутим пульс 37-47 годов, кошмар и безысходность, в которых жила страна той эпохи. Эпоха сменилась, а вот память о ней жива и вводит до сих пор многих в состояние ужаса. Вспоминает о них и Марина, которую до сих пор «терзает вопрос, кто состряпал донос» на ел деда.

Сила настоящей лирики в том, что она не может лгать, она говорит о личном через образ, героя, предмет. Стихи, соединяясь, повествуют о реальном существовании, реальных событиях, происшедших или происходящих с автором. Всё это относится к стихам Марины Тюриной-Оберландер. Её сборник – целостная и искренняя книга, в которой проза служит продолжением стихов, их дополнением или следствием. Как мною полюбившийся стих «Sherzando» выражает, на мой взгляд, сегодняшнее состояние души автора:

*я поступь дней уже не тороплю
уразумев твоей природы силу
мне повезло
что я тебя люблю
другая бы давно тебя убила*

А преддверием этого «люблю» была проза Марины, вошедшая в этот же сборник рассказом «Вторая половинка», о которой чуть позже пойдет речь.

Кульминаций в книге, по моему мнению, несколько, но самой трогательной и лмкой, как в жизни любой женщины, а особенно столь тонко чувствующего поэта-женщины, являются два стихотворения третьей тетради: «Ожидание», в котором и нежность к ещл плавающему «*в утробе материнской*» внуку, и тревога за его будущее, – и «Визит бабушки». Этот стих не оставит равнодушным ни одного читателя, ведь все мы родом из детства.

Мудрость автора, жизненная философия и русскость раскрыта в «Facile», где с изящной ллгкостью и оптимизмом только Марина может

*на вещи зреть издалека
прочеть вчерашнюю страницу
и – пропадлт охота злиться*

– и не писать «*на злобу дня*», а разглядеть суть и смысл жизни как таковой.

Марина для меня – это бесконечная любовь, которая пронизала красной нитью всю книгу. *Налетела любовь и ушла как большая вода* – в «Париже», а вот она рушится:

Ухожу и тебе ничего не скажу... – и возрождается:

*Мне повезло
что я тебя люблю
ответных чувств я познаю желанье
и твой призыв безудержный ловлю
в континентальном взломе мирозданья*

Хотя Марина характеризует себя саму в «Завещании» как «женщину, которая – поэт», ел проза заслуживает самого пристального прочтения. Рассказов всего шесть, и они собраны в самом конце книги в 4-ой тетради. Читать нужно все шесть, иначе вы лишите себя уникального по стилю и содержанию путешествия в мир поэта. Остановлюсь лишь на одном, озаглавленном «Вторая половинка», в котором лмко и тонко выписаны перипетии судьбы, переплетение событий, отточенность чувства и талант. История написана с мифической ллгкостью, но она земная, – о том, как встретились на рубеже двух тысячелетий Адам и Ева при помощи райско-

го яблочка и того самого злополучного змея. А может, змея оклеветали ранее, ведь он помощник и друг самому дорогому чувству человечества – ЛЮБВИ.

«Радость» – расстраивает правдой жизни, «Не было бы счастья, или Собачья жизнь» – открывает через переживания лабрадора мир и судьбу его хозяев, а «Увидеть Париж и ... пообедать» поведаёт историю конца 80-х, удивит невероятностью событий и намекает на счастливое будущее героев.

Я рекомендую эту замечательную книгу и молодым, и людям среднего возраста и тем, кому давно перевалило за средний. Купите её себе, друзьям и врагам, ведь, перефразируя Омара Хайяма,

Когда *Марины* книгу будешь изучать
Ты там найдешь *своих* времён печать
Сквозь сито разума ты мудрость ту просей
Добро и зло ты будешь различать

Наталья Кирил,
историк, политолог, журналист,
член Ассоциации русских деловых
женщин Америки (AARW)

ЧТО БУДЕТ С РОССИЕЙ ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ

Новые романы Андрея Остальского

Крупнейшее российское издательство «ЭКСМО» начало публикацию серии прозы Андрея Остальского.

Интересно, что открывает серию антиутопия «Синдром Л», отрывок из которой (под названием «Маневр Вальсальвы») впервые был опубликован в журнале «Время и место». Это относится также и к роману «Контрэволюция», тоже впервые представленному читателю в нашем журнале (глава «Чертовщина в святилище»). ЭКСМО планирует выпустить «Контрэволюцию» в начале 2014 года.

«Синдром Л» о том, что будет с Россией лет через пятьдесят, если она окончательно откажется от европейского выбора, и события пойдут по худшему сценарию, который кажется сейчас более чем вероятным.

...Реалистический, местами даже натуралистический роман, вроде бы изображающий «будни» рядового сотрудника спецслужб и переживания талантливой, но взбалмошной и избалованной «академической» дочки, вдруг оборачивается романом-предупреждением. Совмещение двух времен (времени советского застоя и послепутинского периода, когда власть наглым образом внедряется в повседневную жизнь человека, контролируя ее), кажется не фантастикой, а, увы, вполне реальным сценарием.

Что же касается «Контрэволюции», то вот что говорится в аннотации, подготовленной издательством:

«Загадочные вещи творятся в ЦК КПСС – уж не Мессир ли Воланд из «Мастера и Маргариты» вернулся в Москву 80-х, чтобы помяться над партийными бонзами? Или это КГБ примеривает на себя маску Сатаны?».

Будем надеяться, новые произведения живущего в Англии писателя, члена редколлегии нашего журнала, будут продаваться в США и станут доступны русскоязычным читателям.

Александр Тутов



Саркастически-ироническая проза и поэзия

ЛЕОНИД КОРТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ УЖЕ НЕМОЛОДОГО МУЖЧИНЫ

ПРОШЛО время просыпаться и ожидать чего-то необыкновенного и радостного от грядущего дня.

ПРИШЛО время просыпаться и удивляться, что ничего не болит и не надо никуда спешить.

ПРОШЛО время, когда ты провожал взглядом каждую девушку и ловил ответный взгляд.

ПРИШЛО время, когда ловить уже, кажется, нечего.

ПРОШЛО время, когда петардный звук падающего мяча вызывал дрожь, сердцебиение и желание играть.

ПРИШЛО время, когда сердцебиение вызывает всё, кроме этого звука.

ПРОШЛО время, когда недосыпание было признаком успеха и спутником сладострастных воспоминаний.

ПРИШЛО время, когда этот же факт, кроме усталости и головной боли, ничего не вызывает.

ПРОШЛО время, когда в первую очередь покупалась выпивка, а закуска - на сдачу.

ПРИШЛО время, когда ты не помнишь, что у тебя в баре.

ПРОШЛО время, когда мы отмахивались от советов родителей.

ПРИШЛО время, когда мы эти советы вспоминаем.

ПРОШЛО время, когда наказание было единственным способом заставить тебя задуматься.

ПРИШЛО время, когда ты задумываешься, прежде чем наказывать.

ПРОШЛО время, когда заботились о тебе.

ПРИШЛО время заботиться тебе.

ПРОШЛО время, когда жена казалась самой красивой женщиной.

ПРИШЛО время, когда она уже кажется и самой умной.

ПРОШЛО время уходить с работы.

ПРИШЛО время искать ее.

ПРОШЛО время грешить.

ПРИШЛО время отвечать за свои грехи.

ПРОШЛО время бежать из дома.

ПРИШЛО время спешить домой.

ПРОШЛО время мечтать о будущем.

ПРИШЛО время вспоминать прошлое.

ПРОШЛО время, когда болезнь была лишь причиной вынужденного отдыха.

ПРИШЛО время, когда любая болезнь кажется неизлечимой.

ПРОШЛО время, когда время тянулось, и ты хотел побыстрее стать взрослым.

ПРИШЛО время, когда ты не знаешь, как замедлить его полёт, и завидуешь молодым.

ПРОШЛО время, когда ты говорил то, что знаешь.

ПРИШЛО время, когда ты знаешь, что скажут другие.

ПРОШЛО время, когда считал, что жизнь - это здорово!

ПРИШЛО время думать о здоровом образе жизни.

ПРОШЛО время подчиняться мнению родителей.

ПРИШЛО время соглашаться с мнением детей.

ПРОШЛО время, когда взаимоотношения состояли из дружбы навеки и легких обид.

ПРИШЛО время, когда легкие обиды навеки прекращают взаимоотношения.

ПРОШЛО время, когда ты знал всех пацанов района.

ПРИШЛО время, когда ты не всегда узнаёшь своих одноклассников.

ПРОШЛО время, когда жизнь казалась бесконечной, а родные бессмертными.

ПРИШЛО время, когда, прощаясь со своими близкими, ты думаешь о том времени, когда будут прощаться с тобой.

ПРОШЛО время, когда хотелось побыть одному.

РАЗМЫШЛЕНИЯ...

ПРИШЛО время, когда ты боишься остаться один.

ПРОШЛО время, когда всё вокруг казалось одним большим спектаклем, а ты играл в нём заглавную роль.

ПРИШЛО время, когда ты всего лишь зритель.

ПРОШЛО время, когда ты ждал очередного дня рождения с нетерпением и надеждой.

ПРИШЛО время, когда ты оттягиваешь этот день.

ПРОШЛО время, когда всё было интересно, каждый день приносил нечто новое, и ты искал подвигов и приключений.

ПРИШЛО время и ... почти ничего не изменилось,

...И СЛАВА БОГУ

Леонид Корт - победитель литературных конкурсов короткого рассказа, автор сборников "Очко" и "Семь грехов". Живет в Чикаго.

Чувство юмора было присуще ему с детства, ирония и сарказм появились позже. С годами к этим качествам добавились житейская мудрость и лёгкая грусть. Его тексты увлекают и заставляют задуматься...

ЮРИЙ СОЛОДКИН

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Прогресса радуют плоды,
Но всё ж, о будущем болея,
Боюсь, никто на зов беды
Не оторвётся от дисплея.

Как удручает то меня,
Что слишком много злобы.
И пишем мы на злобу дня,
А надо – на добро бы.

Позатерялись, братцы, где мы?
Вкусив познания плоды,
Вернемся ли в сады Эдема,
Иль заросли туда следы?

Справедливости воители,
Вы подвижники. И все ж –
Побеждают победители,
А не правда и не ложь.

Поклажею измучен,
Ты тащишься с трудом.
Не хочешь быть навьючен,
Не будь тогда ослом.

Если так, что быть не может хуже,
К небу не взывай, слезу утри.
Бога в помощь не ищи снаружи,
Он живет в душе твоей, внутри.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Снова март, и поздравленья
Зазвучат опять взхлёб.
Что-то часто дни рожденья
Замелькали, мать их .б.

Неведомо Господь вершит свой суд.
Что видится Всевидающему оку?
Отвергнувшие крест, его несут.
К какому Он приговорил их сроку?

Пусть волнуется сердце, штормит иногда.
Без волнения сердца годимся на что мы?
Штиль на море хорош, а на сердце – беда.
Пусть волнуется сердце и выдержит штормы.

Способности немалые в наличии,
Но самолюбованием дышит речь,
И хочется его предостеречь –
Не захлебнитесь в собственном величии.

Не ведал он о свете том,
Но жизнь земная означала
Богоискательство сначала
И Богоборчество потом.

Сатанеют орды,
Так и жди беды.
Чем страшнее морды,
Тем тесней ряды.

*Красота спасёт мир.
Ф.Достоевский*

Возлюби! – нас молили с креста.
В Благодать нас влекли из Природы.
Может, мир и спасёт красота,
Но скорее, погубят уроды.

У эрудитов ссылки сплошь,
Ни шагу без авторитета.
Цитаты блеск, и та и эта,
И в каждой правда есть и ложь.

Что в Твоём Творении творится?
Ты Отец нам или не Отец?
Меж собой нам не договориться.
Можешь Ты вмешаться, наконец?

Где мерило есть богатство,
Список Форбса – свет в пути.
И сплошное потреблядство
Всюду, мать его ети.

Все про дух ты да про дух ты,
Только дух-то во плоти –
Просит есть, а за продукты
Все дороже, блин, плати.

Солнце на ночь отлучится,
А к утру опять взойдёт.
Знать бы, что ещё случится,
Что еще произойдёт.

Никогда бы, мать-природа,
На тебя не бросил тень.
Но жена мужского рода –
Это что за хренотень?

Гляжу на того, кто безгрешен, –
Он набожный, добрый и скромный.
Но вновь нечестивый успешен
И власти достиг вероломный.

Я эту Богу идею
Понять возможности лишён –
Опять поют хвалу злодею,
А праведник, увы, смешон.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Другого короля другая свита
Играет. Но всегда одна картина.
Из подлости и лжи все так же свита
Придворных отношений паутина.

Искусство не сравнится никогда,
Как вдохновенно мы б ни воспарили,
Со всем, что солнце, ветер и вода
На маленькой планете сотворили.

Как их намеренья благи,
Рабов непримененья силы.
Как обожают их враги
И роют им, смеясь, могилы.

Не пишу я тебе отныне.
Ты, как есть, мне явился весь.
Смесь невежества и гордыни –
Нет ужасней, чем эта смесь.

Печальный парадокс, проверенный веками –
На службе у добра мерзавцы с дураками.
А мученик, борец за счастье изначально,
В итоге служит злу, как это ни печально.

Юрий Солодкин родился в Новосибирске. Доктор наук, профессор. В США 15 лет, работает по специальности.

Многие годы его любимое занятие – задавать интересные вопросы и искать интересные ответы, умещая и то, и другое в четыре поэтические строки. Выпустил несколько книг таких миниатюр, включая “Библейские поэмы” – на бессмертные сюжеты Ветхого Завета.

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

ШИРМА

Вообще говоря, жизнь – довольно замысловатая процедура. Никогда не знаешь, в какой момент и чем она грозит обернуться. Порой самое, казалось бы, ничтожное событие способно тебя подтолкнуть совсем не на ту дорогу, по которой ты собирался двигаться. Хочешь вернуться, а дорога оказывается улицей с односторонним движением. И куда эта улица ведёт, никто не знает. Может быть, к пропасти, а может, наоборот, к необъятному счастью.

Вот, например, какая история случилась много лет назад с одной моей знакомой дамой, привлекательной шатенкой по имени Ася Шумахер. Конечно, называть её дамой с моей стороны некрасиво, поскольку Ася была серьёзным и вполне ответственным инженером с восьмилетним стажем. Очень достойная женщина. Ни себе, ни другим ничего такого лишнего никогда не позволяла. Мы с ней тогда работали в Москве, в одном учреждении, в одном отделе, и вместе строили светлое будущее. Как полагается всякому учреждению, был у нас начальник отдела, Николай Моисеевич Сапожников, человек умный и энергичный, как полагается всякому начальнику. Это пока ещё не история. Это просто чтобы вы знали, откуда она начинается.

А сама история началась с того, что Николаю Моисеевичу позволили свыше и велели приехать на совещание по одному важному проекту в город X., то есть по месту воплощения в жизнь этого проекта. И чтоб он взял с собой надлежащий технический персонал, каковым и оказалась Ася Шумахер, работавшая на том самом важном проекте. Город X. был недалеко, всего в трёх часах езды от Москвы. Но совещание было назначено на утро, и, значит, иногородним участникам следовало прибыть в X. накануне. Ничего в этом такого необычного нет. Накануне – значит накануне. Николай Моисеевич нажал кнопку и мигом распорядился забронировать места в гостинице в городе X. для двух командировочных по фами-

лиям товарищ Сапожников и товарищ Шумахер.

Если вы, дорогой мой читатель, помните, В Советском Союзе в те времена, о которых идёт рассказ, не так-то просто было попасть в гостиницу. Если вы, не дай Бог, частное лицо, так сказать, ничемный прожигатель денег, то даже и не мечтайте получить место в гостинице. Ну, разве что, за очень хорошую взятку. Однако, наших героев, Николая Моисеевича и Асю, это совершенно не волновало, поскольку для их учреждения, а тем более для участников такого важного проекта, места в гостинице бронировались безотказно.

И вот Николай Моисеевич и Ася прибывают на место, в эту захолустную гостиницу, единственную в захолустном городе X. Они, как положено, предъявляют свои паспорта и ждут, когда администраторша выдаст им ключи от номеров. Но эта мрачная администраторша смотрит на них злыми, не проспавшимися глазами и говорит:

– Я вас в один номер не могу поселить. Вы не муж и жена.

Тут я должен напомнить вам, дорогой читатель, ещё одну важную особенность советского быта. В этом убогом, вороватом быту партия и правительство строго следили за нравственностью граждан. Моральный кодекс советского человека не допускал внебрачных половых связей. Так что, в советских гостиницах не проходили эти разнузданные американские штучки, вроде “мистер и миссис Смит”.

И надо сказать, что ни Ася, ни её начальник вовсе не помышляли о ночёвке в одной комнате, уж не говоря о каких-нибудь там безнравственных мочеполовых заигрываниях. Они с полным уважением относились к нравственным устоям советского общества. Кроме того, их отношения носили чисто производственный характер. Николай Моисеевич был солидным женатым мужчиной, послушным семьянином и ответственным руководителем. Он говорит:

– Нас одна комната не устраивает. Нам нужно две.

– Ещё чего! – возмущается администраторша. – У меня для вас забронирован один номер на две койки. Вы не сказали, что Шумахер – это женщина.

– А кто сказал, что это мужчина? – возмущается Ася.

– Вы мне тут мозги не полоскайте, – режет администраторша. – Фамилиё мужское. Я по окончанию вижу.

– Ну ладно, – вмешивается Николай Моисеевич. – Не будем уточнять. Дайте нам два номера, и мы пойдём спать.

– Вам русским языком говорят: нету! – злится администратор-

ша. – Нету свободных мест! Всё занято. А что не занято, то забронировано. К нам иностранная делегация едет.

– Где же мы, по-вашему, должны ночевать? – гневается Сапожников.

– А я почём знаю? – орёт администраторша. – Где хотите, там и ночевайте!

В общем, разгорелся небольшой скандал с множеством взаимных обвинений, угроз и всякого рода эпитетов. Администраторша кричит, что вот, дескать, приезжают тут всякие шуры-муры разводиться в официальной государственной гостинице. Сапожников кричит, что он найдёт на неё управу, но где будет искать, не уточняет. Постепенно крик сам по себе начинает замираться. Администраторша перевела дух и говорит:

– Ладно, – говорит. – Пускай эта ваша фря с мужской фамилией одна занимает номер. А вам я в коридоре раскладушку поставлю.

На этом разногласия окончательно утихли. Николай Моисеевич лёг на отпущенную ему раскладушку и сразу уснул. И даже начал слегка похрапывать, несмотря на свою солидную должность. Ася заняла свою двухкочную комнату и тоже вскоре уснула.

Но спала она недолго. Среди ночи её будит страшный, стук в дверь. Такой отвратительный стук, будто в дверь лупят кувалдой. Ася, дрожа от страха, набрасывает на себя халат, открывает дверь и видит перед собой красную от гнева администраторшу.

– Вы мне за это ответите! – орёт администраторша.

Она отталкивает Асю, влетает в номер и срывает одеяла с обеих кроватей. После этого она начинает метаться по комнате и с криком “где он?” и “я вам покажу, как меня обманывать!” начинает заглядывать в шкафы и под кровати.

– Кого вы ищите? – шепчет Ася трясущимися от страха губами.

– Сама знаешь кого! Хахаля твоего! – орёт администраторша.

– Николай Моисеевич спит в коридоре на раскладушке – говорит Ася, предполагая, что именно его администраторша называет хахалем.

– Нету его там! Говори, куда дела!

Тут раздаётся деликатное покашливание, и в дверях появляется закутавшийся в простыню Николай Моисеевич, явно обеспокоенный шумом и криками.

– Прошу прощения, – говорит он. – Я тут ненадолго отлучился в туалет покурить. Вы не меня ищите?

Администраторша затихает и уходит на своё место, бормоча что-то вроде “носит тут всяких по туалетам...” Ночь снова вступает в свои права, Сапожников уходит на раскладушку, и Ася засыпа-

ет. Она спит нервным, пугливым сном, и ей снится, что в дверь всё время стучат.

Ася просыпается оттого, что в дверь действительно стучат. Готовая ко всему, бедная Аня набрасывает халат и открывает дверь. И видит, что в двери стоит администраторша, мрачная, но уже не такая разъярённая, как раньше, а с ней рядом – сонный Николай Моисеевич, закутавшись в простыню и прижав к груди подушку.

– Он будет спать в номере, – говорит суровая администраторша. – Это номер на две койки.

Услышав такое неожиданное заявление, Ася перестаёт бояться, берёт себя в руки и говорит, срываясь от возмущения на высокие ноты:

– С какой это стати я должна спать в одной комнате с женщиной? Это полное нарушение основ советской морали! Вы как администратор советской гостиницы должны отвечать за соблюдение нравственности!

На что администраторша оттирает её плечом, подводит Николая Моисеевича к свободной кровати и говорит:

– Вот ваша койка. А ты, барышня, помолчи и не суй мне в нос своими моральями. Нам тут не моралей. К нам через полчаса иностранная делегация болгарских профсоюзов прибывает. Ты что, хочешь, чтобы они мужика в коридоре на раскладушке увидели? Да меня за такое дело сразу с работы попрут! Так что, отвернись и дай мужчине раздеться.

С этими словами она покидает комнату, а Сапожников и Ася, стыдясь и отворачиваясь, укладываются по своим койкам и засыпают в надежде проспать до утра.

Но надежды их опять оказываются преждевременными. Потому что бдительная администраторша неусыпно стоит на страже советской нравственности. Она понимает, какому страшному риску подвергается эта, можно сказать, государственной важности нравственность при наличии мужчины и женщины в одной комнате, да ещё в ночное время. И она напряжённо думает, как соблюсти нравственность и в то же время не ударить в грязь лицом перед иностранцами, хоть они и болгары. И, в конце концов, она находит мудрое решение. Не зря ей партия и правительство доверили такой ответственный пост.

Итак, снова раздаётся стук в дверь. Николай Моисеевич вскакивает с кровати и, привычно закутавшись в простыню, открывает дверь. И видит там нечто на первый взгляд, нереальное: этакую большую прямоугольную панель, к которой приделаны челове-

ские ноги. Протерев глаза, он начинает понимать, что это ноги администраторши, которая, пыхтя и отдуваясь, тащит перед собой сложенную в гармонь деревянную ширму.

Не говоря ни слова, администраторша раздвигает ширму и устанавливает её посередине комнаты, между кроватями, так чтобы разделить жилплощадь на две высоко нравственные половины – мужскую и женскую. И, переведя дух, покидает вверенный ей двухкочный номер.

И вот мы приблизились к концу истории, произошедшей с моей бывшей сотрудницей Асей Шумахер много лет назад. Совещание, назначенное на утро, прошло на высоком профессиональном уровне, а через какое-то время и сам проект был закончен и успешно то ли внедрён, то ли осуществлён. Но я этого уже не видел, потому что покинул Советский Союз, и к тому времени строил свою новую карьеру в Америке в качестве чертёжника в маленькой мастерской по изготовлению металлоконструкций.

Тут вы, дорогой читатель, можете удивиться и спросить: как это автор смог запомнить в деталях историю, которая произошла много десятков лет назад? Как он умудрился сохранить такую замечательную, свежую память в таком, мягко говоря, несвежем возрасте? Позвольте, я отвечу. Ваш покорный слуга, автор этой глупой истории, на самом деле ничего не помнит. И никогда бы не вспомнил, если бы не одно событие, случившееся совсем недавно.

Событие это заключалось в том, что меня пригласили в Бруклин на свадьбу внучки одного моего старого знакомого. И там, среди шумного бала, меня представили сначала жениху этой самой внучки, затем его родителям, и, наконец, его бабушке. С бабушкой я раскланялся особо учтиво. Как истый джентльмен, я поцеловал ей ручку и сказал с элегантным британским произношением:

– Хау ду ю ду, миссис...

– Миссис Шумахер, – сказала бабушка. – И добавила на хорошем русском языке:

– Вы, судя по выговору, либо из Москвы, либо из Ленинграда.

С позволения бабушки, я присел за её столик. Мы разговорились, и понадобилось не более пяти минут, чтобы установить, что мы когда-то работали в одном учреждении и даже в одном отделе. Не без некоторого напряжения мы вспомнили друг друга. И вот тогда Ася Шумахер и рассказала мне в деталях историю своей командировки в город X. с начальником отдела, которую я вам только что поведал.

– Помните нашего начальника? – спросила Ася.

– Конечно. Вы что-нибудь про него знаете?

– Знаю. Николай Моисеевич был моим мужем. Он умер два года назад.

– Позвольте, как это? Ведь он...

– Да, он был женат. Они развелись. Нет, не из-за меня. У его жены к тому времени была тайная связь с трамбонистом. Их сын предпочёл остаться с отцом, и я фактически стала его матерью. Вы с ним только что познакомились. А наш роман с Николаем Моисеевичем начался в городе X. в тот момент, когда администраторша гостиницы поставила между нами ширму. Это было ужасно смешно. Мы так смеялись, что уже не могли заснуть. А вы сами знаете, до чего могут досмеяться мужчина и женщина ночью в одной комнате. Тут уж не поможет ни ширма, ни моральный кодекс строителя коммунизма

Ещё Ася рассказала, что эта никчемная на первый взгляд история получила огласку. Администраторшу гостиницы уволили за недосмотр в области нравственности. Резонанс достиг Москвы, и в стране было принято постановление Совета Министров о дальнейшем улучшении качества ширм.

И вот теперь, на склоне лет, я часто думаю: от каких же случайных и, казалось бы, не имеющих никакого отношения к человеку событий зависит его судьба! Ведь не приехали бы в ту ночь иностранцы, и вся дальнейшая жизнь Аси и Николая Моисеевича потекла бы по совершенно другому руслу. Даже, можно сказать, по двум совершенно различным руслам. Вот, к какому плодотворному результату привёл визит делегации болгарских профсоюзов в город X.!

***Александр Матлин** – инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.*

Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале “Крокодил”.

В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике “Панорама” (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля. В том числе и в журнале “Время и место”.

В Москве в издательстве “Вагриус” вышла книга Матлина “На троих с ЦРУ” – полное собрание избранных рассказов и стихов.



НА РАЗРЫВ АОРТЫ...

Каждый раз, бывая в Париже, я непременно отправляюсь на Монмартр. Поднимаюсь по спирали улицы вверх, сожалея, что не родился на столетие раньше. Иду и фантазирую. Поднимаю голову и вижу в причудливо раскрашенном, словно игрушечном, здании открытое настежь окно. Тогда из него мог выглянуть и запросто поприветствовать меня Хаим Сутин или Модильяни, а в кафе - том, что напротив, можно было согреться глинтвейном за соседним столиком рядом с Шагалом или Пикассо. Если повезет, по случаю (в честь знакомства!) получить их рисунок, который теперь стоит большие деньги. Да что деньги! Обладание таким сокровищем в собственных глазах делает тебя небожителем.

Евгению Заку, родившемуся ровно 130 лет назад в еврейской семье в местечке под Минском, повезло. Он не просто знал вышеперечисленных знаменитостей. Молодой художник, перебравшийся в Париж - признанную Мекку художников и литераторов, дружил и творил с ними.

Его родственники вспоминали, что ребенок, вероятно, родился с карандашом и кистью. Он мог рисовать часами, не замечая времени.

Его восхождение к вершинам искусства было стремительным. Вот несколько штрихов его биографии.

Школу окончил в Варшаве. С 1901 года живет во Франции, Мюнхене и Италии, в 1904 году вернулся в Париж.

Участник Салона независимых выставок Национального Общества изящных искусств. Участник Общества польских художников во Франции. В 1910 году его работа приобретена для Люксембургского музея. Затем персональная выставка в галерее Druet. С 1912 года профессор Académie La Palette.

Вскоре он женится на талантливой художнице Ядвиге Кон, девушке из еврейского местечка в Польше. Она становится самым близким другом, помощником и критиком. Впоследствии она станет управляющей Galerie Zak.

Выставлялся в галереях Парижа, в Нью-Йорке, Кельне и Лондоне. В 1914-16 гг. живет на юге Франции.

В 1916 году приезжает в Польшу, на родину его жены, в г. Ченстохов. Его считают одним из основоположников движения художников "Ритм" стиля Ар-деко (Варшава, 1922). В том же году уезжает в Германию. И снова Париж...

Его творчество находилось под влиянием символизма, хотя многие искусствоведы считают Зака представителем неоклассицизма. В творчестве он первоначально культивировал идеи живописи Ренессанса, затем увлекся живописью Сезанна...

Его работы сегодня украшают многие музеи мира и частные коллекции. Их могло быть больше, но Евгений Зак рано ушел из жизни, успев отметить лишь 41-й день рождения. Умер он от разрыва сердца...

И.Ш.

“В конечном счете, каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть или удержать утраченное и текущее Время... Ибо то, что сказано, никогда не конец, но край речи, за которым - благодаря существованию Времени - всегда нечто следует. И то, что следует, всегда интереснее уже сказанного...”

Иосиф БРОДСКИЙ. “ПОЭТ И ПРОЗА”

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Уважаемые читатели!

Международный литературно-художественный и общественно-политический журнал “ВРЕМЯ И МЕСТО” объемом до 300 стр., выходит 4 раза в год.

Цена подписки на год (4 выпуска) - \$50 в год для жителей США и Канады, включая доставку. Жителям США и Канады, Австралии и Новой Зеландии для оформления подписки следует присылать оплату (чек, money order) на имя *Shikhman Publishing* по адресу редакции журнала:

Shikhman Publishing

1864 Clove Rd., Staten Island, NY 10304, USA

Справки по телефону: 718-815-5000

Помните, что, оформляя подписку, вы должны указать ваше имя, фамилию и точный почтовый адрес!

Цена годовой подписки для университетов и библиотек США, России, Израиля, стран Европы, а также Австралии и Новой Зеландии - \$84, включая доставку.

Розничное распространение журнала проводится в США, Германии, Франции, Англии, Канаде, Израиле и России.

Желающих приобрести комплект журналов за 2007-2013 годы по сниженным ценам просим обращаться по телефону (718) 815-5000.

ВРЕМЯ И МЕСТО

ПОДПИСНОЙ КУПОН

*международный
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

Цена подписки на год (4 выпуска) - \$50, включая доставку.

Для университетов и библиотек в США и других странах - \$84, включая доставку.

Высылаю чек/money order на сумму: _____

Full Name _____

Street _____

City _____ State _____ Zip _____

Country _____ Phone _____